

18+
Эрих Эрлэнбах

**«Белый шум: 17920,
14814...». «White
Noise: 17920,
14814...»**

Эрих Эрлэнбах
«Белый шум: 17920, 14814...».
«White Noise: 17920, 14814...»

<https://litres.ru/74504252>

ISBN 9785007130875

Аннотация

«Белый шум» — эпическая шпионская трилогия 1920–2010-х. Операция ЦРУ «Корень» создаёт агентурную сеть из советской номенклатуры. Через «Амторг» вербуют молодых рядовых партийных работников, чтобы они росли в должностях и добывали всё более ценные секреты. Актив создается подкупам, голодом, страхом, разочарованием, любовью к джазу, джинсам, пластинкам, амбициям. Двойная жизнь, шифровки в коротковолновом эфире, белый шум. История о пешках геополитики, предательстве и их цене за эти выборы.

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ	21
Часть первая. Амторг и первые контакты	22
Глава 1. Нью-Йорк, 261 Пятая авеню	22
Глава 2. Поезд через океан	33
Часть вторая. Вербовки (1931—1933)	44
Глава 3. Днепрогэс, сентябрь 1931	44
Глава 4. Краснодар, зима 1931—1932	54
Глава 5. Свердловск, весна 1932	68
Глава 6. Москва, Кремль, осень 1932	80
Часть третья. Рост и чистки (1934—1939)	90
Глава 7. Москва, 1934. Корень переезжает	90
Глава 8. Краснодар, 1935. Степь идёт в гору	103
Глава 9. Свердловск, 1936. Кукушка выходит замуж	117
Глава 10. 1937. Чистка	129
Глава 11. Айзенах, 1938. Рождение Вагнера	140
Часть четвёртая. Война (1941—1944)	154
Глава 12. Эвакуация в Пермь	154
Глава 13. Сталинград, 1942. Степь на войне	168
Глава 14. Тюрьма Хоэншёнхаузен, 1943	183
Конец ознакомительного фрагмента.	186

«Белый шум: 17920, 14814...». «White Noise: 17920, 14814...»

Эрих Эрлэнбах

© Эрих Эрлэнбах, 2026

ISBN 978-5-0071-3087-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Белый шум: 17920, 14814...»

«White Noise: 17920, 14814...»

Эрих Эрлэнбах

Книга первая

ИНЖЕНЕРЫ И ПАРТОМЕНКЛАТУРА

(1929—1945)

Часть первая. Амторг и первые контакты (1929—1931)

Глава 1. Нью-Йорк, 261 Пятая авеню

Май 1929 года. Офис «Амторга». Михаил Сорокин подпи-

сывает контракт с Альбертом Каном на \$2 миллиарда. Артур Спенсер и Джеймс Кук начинают присматриваться к советским инженерам. Николай Бережной впервые попадает в поле зрения ЦРУ.

Глава 2. Поезд через океан

Сентябрь 1931 года. Пароход «Манхэттен». Артур Спенсер и Фриц Фогель плывут в СССР. На борту — молодые советские инженеры, среди которых Иван Каганович и Николай Бережной. Первые контакты и наблюдения.

Часть вторая. Вербовки (1931—1933)

Глава 3. Днепрогэс, сентябрь 1931

Иван Каганович работает на стройке Днепрогэса. Артур Спенсер вербует его, используя шантаж и обещание спасти семью. Иван становится «Корнем».

Глава 4. Краснодар, зима 1931—1932

Фриц Фогель знакомится с Николем Бережным. Голод, страх, отчаяние. Вербовка через чувство вины и надежду. Николай становится «Степью».

Глава 5. Свердловск, весна 1932

Зинаида, секретарша обкома, попадает в ловушку шантажа. Джеймс Кук предлагает ей сделку. Она становится «Кукушкой».

Глава 6. Москва, Кремль, осень 1932

Сталин и его окружение обсуждают иностранных инженеров. Приказ: «Пусть работают. Потом вышлем вон».

Часть третья. Рост и чистки (1934—1939)

Глава 7. Москва, 1934. Корень переезжает

Иван получает должность в Наркомате тяжёлой промышленности. Первые шифровки. Встречи со Стивом. Начало двойной жизни.

Глава 8. Краснодар, 1935. Степь идёт в гору

Николай становится первым секретарём райкома. Новый куратор — «Джон». Фриц уезжает в Германию.

Глава 9. Свердловск, 1936. Кукушка выходит замуж

Зинаида выходит замуж за майора НКВД Дмитрия Козырева. Теперь у неё есть доступ к секретным документам.

Глава 10. 1937. Чистка

Большой террор. Иван попадает в список на арест. ЦРУ запускает дезинформацию и спасает его. Цена спасения — предательство.

Глава 11. Айзенах, 1938. Рождение Вагнера

Эрих Шульц, пятнадцатилетний мальчик, смотрит, как горит синагога. Его отца уводят в Бухенвальд. Сосед-американец Говард даёт ему радиоприёмник.

Часть четвёртая. Война (1941—1944)

Глава 12. Эвакуация в Пермь

Октябрь 1941 года. Иван эвакуирует завод в Молотов. В поезде он встречается Зинаиду. Они не знают, что оба работают на ЦРУ.

Глава 13. Сталинград, 1942. Степь на войне

Николай воюет под Сталинградом. Его брат Лёня погибает. Николай спасает американского лётчика-связного и

получает новое задание.

Глава 14. Тюрьма Хоэншёнхаузен, 1943

Эрих попадает в плен и работает на стройке тюрьмы. Говард вызволяет его и отправляет на завод Wartburg. Первое задание.

Глава 15. Тегеран, 1943. Долгая игра

Иван передаёт ЦРУ план перелёта Сталина в Тегеран. Информация помогает предотвратить покушение «Длинный прыжок».

Часть пятая. Берлинский щит (1945)

Глава 16. Взятие Берлина, апрель 1945

Николай входит в Берлин. Он находит архив гестапо с компроматом на себя. Уничтожает его.

Глава 17. Встреча на Эльбе, май 1945

Иван и Артур Спенсер встречаются на Эльбе. Короткое рукопожатие. Записка: «Ваша легенда чиста. Ждите сигнала».

Глава 18. Финал книги 1: август 1945

Все четверо агентов получают одинаковое сообщение: «Следующий сеанс — через пять лет».

Книга вторая

ТОВАРИЩИ И КАНЦЛЕРЫ

(1946—1979)

Часть первая. Разделённый мир (1946—1955)

Глава 1. Нюрнберг, 1946. Суд и стыд

Иван работает переводчиком на Нюрнбергском процессе. Артур Спенсер просит его помогать спасать нацистских учёных. Операция «Скрепка».

Глава 2. Москва, 1949. Кукушка в гнезде

Зинаида работает в Министерстве культуры. Приём в американском посольстве. Передача документов новому связному «Джорджу».

Глава 3. ГСВГ, 1952. Степь в Потсдаме

Николай служит замполитом в ГСВГ. Вербовка лейтенанта Сорокина. Самоубийство Сорокина. Николай несёт груз вины.

Глава 4. Айзенах, 1952. Вагнер начинает

Эрих работает начальником отдела кадров на заводе Wartburg. Собеседование в Штази. Начало карьеры в разведке.

Глава 5. Гийом бежит в ГДР, 1956

Гюнтер и Кристель Гийом переезжают из Парижа в ГДР. Вербовка МГБ. Подготовка к внедрению в ФРГ.

Часть вторая. Айзенах и Хоэншёнхаузен (1957—1964)

Глава 6. Кадровик, 1957

Эрих вербует первых агентов на заводе Wartburg. Фальсификация дела инженера Кляйна. Герань на подоконнике.

Глава 7. Тюремная командировка, 1960

Эрих стажировается в Хоэншёнхаузене. Помогает бежать

американскому студенту. Расшифровка по Канту.

Глава 8. Первый заключённый, 1962

Эрих — начальник отдела учёта заключённых. Спасение физика Келлермана. Книга Канта — ключ к шифрам.

Глава 9. Москва — Париж. Орфей, 1964

Борис Громов, атташе по культуре, завербован в Париже. Любовь к джазу и свободе. Роман со связной Катрин.

Глава 10. Варшавская осень. Фрегат, 1968

Тадеуш Войцеховский передаёт ЦРУ план введения военного положения в Польше — за 13 лет до событий.

Часть третья. Гийом и Брандт (1969—1974)

Глава 11. Штази против БНД, 1969 — 237

Эрих становится куратором Гийома. Оперативная провокация против БНД. Фальшивый крот в Пуллахе.

Глава 12. Канцлер и его друг, 1970—1971

Гийом становится личным референтом Брандта. Передача секретных документов. Обед с канцлером. Двойная жизнь.

Глава 13. Уотергейт по-немецки, 1973—1974

Разоблачение Гийома. Отставка Брандта. Эрих запускает дезинформацию, чтобы защитить других агентов.

Глава 14. Отставка Брандта, май 1974

Эрих смотрит новости. Ингрид спрашивает: «Почему ты плачешь?» Эрих: «Я плачу не о Брандте. Я плачу о том, что мы все — марионетки».

Часть четвёртая. Охота на кротов (1975—1979)

Глава 15. Чистка в Штази, 1975

Эриха вызывают на допрос по подозрению в связях с Западом. Он выкручивается, используя компромат на следователя.

Глава 16. Встреча в Вене, 1977

Иван и Николай случайно встречаются в санатории. Они догадываются, что оба — агенты ЦРУ. Молчаливое понимание.

Глава 17. Смерть Кукушки, 1978

Зинаида умирает от рака. Перед смертью она передаёт связному последнее сообщение: «Молодые готовы. Ищите в Академии наук».

Глава 18. 1979, канун Афгана

Сын Эриха, Фриц, уезжает воевать в Афганистан. Эрих включает приёмник. Шифровка: «WEITER» — продолжай.

Глава 19. Финал книги 2

Обмен Гийома на мосту Глинике. Иван и Николай готовятся к уходу. Эрих остаётся один.

Книга третья

ТЕНИ РАСПАДА

(1980—2012)

Часть первая. Закат империи (1980—1985)

Глава 1. Афганский груз

Фриц Шульц уезжает в Афганистан. Эрих получает

письма с фронта. Возвращение Фрица — калекой.

Глава 2. Чернобыльский намёк

Иван Каганович передаёт в ЦРУ предупреждение о взрыве на ЧАЭС. Ответа нет. Иван умирает в 1983 году.

Глава 3. Смерть Андропова

Николай Бережной стоит в почётном карауле. Передача шифровки «СТЕР». Последние годы жизни Степи.

Часть вторая. Ненужные шпионы (1986—1991)

Глава 4. Перестройка

Горбачёв начинает реформы. ЦРУ оценивает его как «новую метлу». Агенты получают новые инструкции.

Глава 5. Падение стены и предательство в Шлотхайме

9 ноября 1989 года. Падение Берлинской стены. Подполковник Колесников бежит в ФРГ с секретной ракетой. Скандал в Западной группе войск.

Глава 6. Бегство Вагнера

Эрих получает шифровку: «EXFILTRATION IN FOUR WEEKS». Прощание с сыном в аэропорту. Перелёт в США.

Глава 7. Лэнгли, 1990

Допрос Эриха аналитиком Марком. Эрих сдаёт много, но отказывается называть имена «Корня» и «Степи». «Оставьте им хотя бы могилы без плевков».

Глава 8. Путч 1991, август

Иван (89 лет) живёт в Москве у дочери. Танки на улицах. Он выходит с портретом Ельцина и чуть не гибнет под гусеницами.

Глава 9. Корень уходит, 1993

Иван умирает в Киеве. Перед смертью он пишет письмо президенту России: «Я не предатель. Я хотел спасти страну от самой себя».

Глава 10. Степь в Краснодаре, 1996

Внук Николая становится губернатором. ЦРУ пытается его завербовать. Старый Николай смотрит на внука и думает: «Ты честный».

Часть третья. Судьба наследия (1991 — 2008)

Глава 11. Парижский шахматист, 2005

Встреча Марка с Борисом Громовым («Орфеем») в Люксембургском саду. «Я любил не Америку. Я любил джаз и свободу читать Кафку».

Глава 12. Дочь Кукушки, 2008

Елена, внучка Зинаиды, находит в архиве ФСБ дело бабушки. Она закрывает его навсегда: «Хранить вечно».

Часть четвёртая. Эпилог в музее (2010—2012)

Глава 13. Возвращение в Хоэншёнхаузен

Эрих возвращается в Берлин. Экскурсия в музей Хоэншёнхаузен. Он узнаёт камеры, коридоры, своё прошлое.

Глава 14. Последний сеанс

Ночь в гостинице. Эрих включает радиоприёмник «Телефункен». Шепчет: «Алло? Есть кто?» Тишина. Белый шум.

Глава 15. Смерть Вагнера

Утро. Горничная находит Эриха мёртвым. На столе — письмо: «Я был агентом ЦРУ. Моё кодовое имя — „Вагнер“».

Глава 16. Парижский шахматист

Декабрь 2012 года. Старый Николай на могиле брата. Марк закрывает дело «Корень» в Лэнгли. Последняя фраза: «Эфир был полон голосов. Но никто уже не слушал».

Часть четвёртая. Последние голоса (2012—2015)

Глава 17. Возвращение в Хоэншёнхаузен

Эрих возвращается в Берлин. Экскурсия в музей. «Это я. Я работал здесь».

Глава 18. Последний сеанс

Ночь в гостинице. Приёмник «Телефункен». «Алло? Есть кто?» Тишина. Белый шум.

Глава 19. Смерть Вагнера

Горничная находит Эриха мёртвым. Письмо: «Я был агентом ЦРУ. Моё кодовое имя — „Вагнер“».

Глава 20. Эфир был полон голосов

Декабрь 2012. Николай на могиле брата. Марк закрывает дело «Корень». Последняя фраза.

Глава 21. Крот в Лэнгли

2015. Елена находит папку «Операция „Двойник“». Марк Стивенсон был агентом КГБ. Он знал всё. Он защитил себя. Никто не узнает.

Эпиграф

В квартире обычной советской семьи, в общей комнате, на изогнутых ножках стоял радиоприёмник «Беларусь-53» — деревянный, тёплый, с загадочно мигающим зелёным глазом, который, казалось, жил своей жизнью. По вечерам, ко-

гда за окном темнело, а за стеной соседи затевали очередной скандал, Андрей подходил к приёмнику и медленно крутил ручку настройки. Стрелка скользила по шкале, и из динамика вырывались обрывки чужих миров: немецкая речь, французское пение, американский джаз, а иногда — странное шипение, в котором, если вслушаться, можно было различить едва уловимые голоса.

Мальчик не понимал слов, но ловил интонации — скорость, паузы, эмоции. Он создавал для себя своё понимание об услышанном, достраивая то, что ускользало от смысла, додумывая то, что не было сказано. Для него эфир был окном в другие жизни — в мир, который существовал параллельно его собственному.

Ноябрьским вечером 1970 года, когда за окном шёл первый снег и домочадцы ещё не расселись перед черно-белым телевизором «Горизонт» для просмотра программы «Время», Андрей поймал женский голос. Он читал группы цифр на немецком языке — ровно, без интонаций, почти механически. В то время как вся страна готовилась к новостям, здесь, в его наушниках, звучал другой язык, другая реальность.

Андрей похолодел. Неделью назад он посмотрел фильм «Ошибка резидента» и теперь знал: такие цифры не передают просто так. Это шифр. Это тайна. Это мир, в который ему не стоило соваться. Но он попытался записать. Карандаш прыгал по бумаге, цифры мелькали и исчезали, усколь-

зая от его внимания. Скорость была слишком высокой.

Через месяц, почти случайно, на другой частоте, он снова услышал эти цифры — но уже на русском языке. Те же паузы, тот же голос, та же ледяная ровность. Андрей замер. Он понял, что приоткрыл щёлочку параллельного мира, который жил по своим скрытым законам и не соприкасался с тем, что происходило за стеной, где его мать уже звала ужинать.

Два мира существовали рядом, но не соприкасались. В одном — чай на столе, школа, прогноз погоды и программа «Время». В другом — цифры, голоса, белый шум и чьи-то судьбы, зашифрованные в коротковолновом эфире.

Андрей выключил приёмник. Зелёный глаз погас. Но тишина, которая наступила, была громче, чем любой голос.

Так начинается эта книга.

Так начинается история о тех, кто слушал.

От автора

Эта книга — художественное произведение. В её основе лежит вымысел. Все персонажи, события, организации, диалоги и действия, представленные здесь, являются плодом воображения автора либо используются вымышленным образом.

Реальные исторические события (такие как Вторая мировая война, деятельность «Амторга», Холодная война, Пражская весна, подписание Московского договора, ввод советских войск в Афганистан, Перестройка) и некоторые реальные личности (включая, но не ограничиваясь, Гюнтера Гий-

ома, Вилли Брандта и Михаила Горбачёва) послужили лишь фоном для создания вымышленных персонажей и сюжетных линий. Их изображение, мысли, диалоги и действия в рамках этого романа являются плодом авторского воображения и не должны рассматриваться как документальное свидетельство.

Любые совпадения с реальными людьми, как ныне живущими, так и ушедшими, а также с неизвестными страницами истории, следует считать случайными.

Автор не претендует на знание тайных пружин истории. Эта книга — о людях, которые могли бы быть. О выборе, который они могли бы сделать. И о белом шуме, который они могли бы слышать или не слышать.

Белый шум не смолкает. Он просто ждёт.

17920, 14814...

Предисловие

Эта книга родилась из одного вопроса, который не давал мне покоя много лет: что заставляет обычного человека — отца семейства и инженера, секретаршу и офицер, члена КПСС и партийного работника — предать всё, во что он верит, и пойти работать на другую страну, возможно и на врага?

Ответ, как я постепенно понял, гораздо сложнее, чем «деньги» или «идеология». Это всегда — выбор. Выбор, который делается не в один момент, а вызревает годами. В тишине коммунальных квартир, в грохоте заводских цехов, в

ночных разговорах с собой, когда никто не видит. Это выбор, который человек делает не между добром и злом, а между жизнью и смертью — своей, своих близких, своей страны. Или поиск лучшей жизни в отличии от настоящей, или подражание другим «Они там, а я здесь», или желание жить, как «неприкасаемая номенклатура» (не путать с кастой индийских неприкасаемых), и так далее и тому подобное. Каждый выбирает, подбирает свое оправдание, или делает свое заключение на основе которого и создает свой мир по которому осуществляет деяния.

Это история одиночества, страха и надежды. Это история людей, которые тридцать-сорок лет прожили двойной жизнью и умерли, так и не рассказав её никому.

Мне хотелось рассказать эту историю — не с высоты аналитических отчётов, а изнутри. Взглянуть на холодную войну глазами тех, кто её делал. Тех, кто стоял у конвейеров и у партийных трибун. Тех, кто слушал белый шум в радиоприёмниках и ждал цифр, которые могли изменить всё сиюминутно или в вероятной перспективе.

Работа над романом заняла несколько лет. Каждый персонаж — это сложный, многогранный мир. Прототипов как таковых нет, но я черпал вдохновение в судьбах реальных людей, о которых писали мемуары и архивы: оперативников, перебежчиков, простых граждан, случайно оказавшихся в эпицентре большой политики. Их психологические портреты — результат долгих размышлений о том, что движет

человеком в минуты предельного выбора. Некоторые черты характеров моих героев подсказаны людьми, которых я имел честь знать лично — теми, кто работал в разведке или контрразведке, кто жил в ГДР, ФРГ или Советском Союзе в те годы. Я благодарен им за доверие и за те крупницы правды, которыми они поделились.

Отдельная благодарность — моим редакторам и первым читателям, чьи советы помогли сделать текст глубже и точнее. Ваше внимание к деталям, ваши вопросы, ваши сомнения — всё это сделало роман лучше.

И, наконец, я благодарю вас, мой читатель. За то, что вы взяли эту книгу в руки. За то, что вы готовы погрузиться в мир, где нет чёрного и белого, а есть только белый шум — вечный, неумолимый, живой.

Я не знаю, какой из моих героев будет вам ближе. Иван, который хотел спасти семью и предал страну. Николай, который верил в степь и свободу. Зинаида, которая вышивала шифры в платках. Эрих, который всю свою жизнь искал голос в эфире. Но я надеюсь, что каждый из них оставит в вашей душе свой след — как белый шум, который не смолкает, даже когда радиоприёмник выключен.

Пусть эта книга станет для вас не просто историей шпионажа, а размышлением о времени, выборе, любви и одиночестве. О том, как важно слышать друг друга в этом шуме, даже когда кажется, что никто не слушает.

Белый шум не смолкает. Он просто ждёт.

17920, 14814...

Пролог

Берлин, дом престарелых, 2012 год

Окна его комнаты выходили на запад — туда, где когда-то стояла стена. Теперь стены не было. Теперь там был парк, стеклянные офисы и супермаркеты. Мир изменился. А он — нет.

Старик сидел в кресле-каталке, укрытый пледом. Руки его, испещрённые венами и пигментными пятнами, лежали на подлокотниках. Глаза смотрели в одну точку — туда, где в его памяти всё ещё стояла стена. Сорок лет он служил Штази. Тридцать из них — ЦРУ. Он был шпионом, предателем, героем и палачом в одном лице. Но теперь он был просто стариком, которого кормили с ложечки и вытирали ему подбородок.

На тумбочке рядом с кроватью стоял старый радиоприёмник. «Телефункен», ещё довоенный. Он давно не работал. Но старик иногда включал его — просто так, чтобы услышать шипение. Белый шум был единственным, что осталось от прошлого.

Он закрыл глаза и провалился в воспоминания. В Берлин 1938 года, где мальчишкой он смотрел, как горит синагога. В Айзенах 1945 года, где американец Говард протянул ему первый плоский приёмник. В Хоэншёнхаузен 1960 года, где он помог бежать тому студенту. В Берлин 1974 года, где он наблюдал, как рушится карьера Брандта. И в Афганистан —

в тысячах километров отсюда — куда он отправил своего сына.

«Я сделал всё, что мог, — подумал он. — Я спасал людей. Я убивал людей. Я жил двойной жизнью. А теперь — я просто жду.»

Он ждал смерти. Она не торопилась.

Он открыл глаза, посмотрел на приёмник. Протянул дрожащую руку, повернул ручку громкости.

Шипение. Треск. Белый шум.

Потом — тишина.

Голосов больше не было. Никто не читал цифры. Игра кончилась.

— Белый шум — мой друг, — прошептал он. — Всегда.

Он закрыл глаза и улыбнулся.

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть первая. Амторг и первые контакты

Глава 1. Нью-Йорк, 261 Пятая авеню

Май 1929 года

Окна кабинета выходили на Пятую авеню, но отсюда, с одиннадцатого этажа, не было слышно городского шума. Только глухая вибрация — как будто где-то далеко работал гигантский двигатель, и его дыхание сотрясало стёкла с интервалом в три секунды. Михаил Сорокин знал этот ритм: Нью-Йорк дышал так же тяжело, как паровоз, втаскивающий состав на подъём.

Он стоял у окна, заложив руки за спину, и смотрел на серую ленту авеню, по которой ползли автомобили. Великая депрессия ещё не получила своего имени, но воздух уже пах ею — запах закрытых заводов, пустых кошельков и людской надежды, которая сворачивается как прокисшее молоко. Сорокин чувствовал этот запах даже здесь, в кабинете, где висели портреты Ленина и Дзержинского, а на столе лежали свежие сводки из Москвы.

— Товарищ Сорокин, — раздалось за спиной.

Он обернулся. В дверях стояла секретарша — худая жен-

щина в строгом платье, с пучком рыжеватых волос. В руках она держала поднос с чаем и папку.

— Принесли из шифровального отдела, — сказала она, ставя поднос на край стола. — И товарищ Спенсер уже ждёт в приёмной. С ним ещё один, из «General Electric».

— Пусть войдут, — Сорокин взял папку, не глядя на чай. Он знал, что там. Москва не терпела промедлений. Каждый месяц, каждую неделю промедления означали отставание, а отставание в их деле означало смерть. Не его лично — смерти были не про него. Но смерть идеи, смерть надежды, смерть страны, которую он строил из ничего вот уже двенадцать лет.

Сорокин открыл папку. Шифровка была короткой, почти телеграфной:

«НЕОБХОДИМО ВСЁ. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. СРОК — МЕСЯЦ. СТАЛИН».

Он перечитал три раза. Потом аккуратно сложил лист, поднёс к пепельнице и чиркнул спичкой. Бумага горела медленно, с неохотой, как человек, которого будят среди ночи. Сорокин смотрел на пламя, пока оно не лизнуло пальцы. Тогда он бросил обгоревший угол в пепельницу и стряхнул пепел.

— Войдите, — сказал он, не повышая голоса.

Дверь открылась, и вошли двое.

Первый — высокий, светловолосый, с лицом, которое трудно было запомнить. Артур Спенсер, инженер «General

Electric», тридцать два года, женат, детей нет. Сорокин знал о нём больше, чем тот мог предположить: закончил Массачусетский технологический, работал на заводах Форда, потом перешёл в GE. Технический специалист, каких в Америке тысячи. Но было в нём что-то ещё — какая-то внутренняя собранность, которую Сорокин привык замечать у людей, связанных с разведкой. Впрочем, он не был уверен. И не хотел быть уверенным.

Второй — ниже ростом, плотный, с тёмными курчавыми волосами и быстрыми, цепкими глазами. Джеймс Кук. Торговый атташе? Сорокин не помнил его должности. Но знал, что этот человек никогда не смотрит в глаза слишком долго.

— Садитесь, господа, — Сорокин указал на два стула перед столом. — Чай будете?

— Благодарю, — Спенсер сел, положив портфель на колени. — У нас мало времени, Михаил Савельевич. Альберт Кан ждёт ответа до полудня.

— Знаю, — Сорокин прошёл за стол, сел, поправил манжеты. — Он всё ещё настаивает на двух миллиардах?

— Два миллиарда — это минимум, — вмешался Кук. — Пятьсот заводов. Сто тысяч чертежей. Шестьсот чертёжников в три смены. Альберт Кан — единственный, кто может сделать это за шесть недель.

— Шесть недель, — повторил Сорокин. — Москва дала месяц.

Спенсер улыбнулся — коротко, без тепла.

— Москва может дать месяц. Но физику не обманешь. Чертёж — это не приказ Сталина. Ему нужно время.

Тишина повисла в кабинете. Слышно было, как за стеной стучат пишущие машинки — пять штук, все «Ундервуд», все куплены вчера. Сорокин вдруг подумал, что эти машинки — символ их работы. Американские, но работают на советскую идею. Как и все они.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Шесть недель. Но цена?

— Два миллиарда — это только оборудование и чертежи, — Кук достал из внутреннего кармана сложенный лист. — Плюс обучение персонала. Плюс командировочные для наших инженеров. Плюс страховка. Плюс...

— Я понял, — Сорокин взял лист, но не развернул. — Москва даст столько, сколько сможет. Но вы должны понять: у нас нет валюты в неограниченном количестве. Мы будем платить золотом. И лесом. И нефтью.

— Золото нас устраивает, — сказал Спенсер. — Лес — тоже.

Сорокин посмотрел на него. На мгновение ему показалось, что американец сейчас скажет что-то ещё — что-то важное, не из их деловой переписки. Но Спенсер молчал, только пальцы его лежали на портфеле слишком спокойно.

— Тогда договорились, — Сорокин встал. — Я подпишу контракт сегодня вечером. Альберт Кан может начинать.

Они тоже встали. Кук уже взялся за ручку двери, но Спен-

сер задержался.

— Михаил Савельевич, — сказал он, — можно вас на минутку?

Сорокин кивнул. Кук вышел, притворив дверь за собой.

Спенсер подошёл к карте, висевшей на стене. Карта СССР — огромная, от Балтики до Тихого океана. На ней красными флажками были отмечены строящиеся заводы: Сталинградский тракторный, Днепрогэс, Уралмаш, Челябинский тракторный. Сотни флажков. Тысячи.

— Вы знаете, что мы строим, Михаил Савельевич? — спросил Спенсер, не оборачиваясь.

— Индустрию. — Сорокин подошёл к нему. — Мы строим индустрию, Артур. Без неё мы погибнем.

— Вы строите не просто индустрию. Вы строите машину, которая через двадцать лет будет угрожать моей стране.

Сорокин усмехнулся.

— Ваша страна не признаёт нас даже дипломатически. О какой угрозе вы говорите?

— О той, которую вижу сейчас, — Спенсер повернулся. Его лицо было серьёзным, почти печальным. — Я инженер, Михаил Савельевич. Я не люблю политику. Но я вижу цифры. Пятьсот заводов — это не просто заводы. Это танки. Самолёты. Сталь. Через десять лет у вас будет армия, равной которой не знала Европа.

— А через десять лет, — Сорокин посмотрел ему в глаза, — у нас будет страна, где люди не умирают от голода. Вы

знаете, что у нас сейчас в Поволжье? Дети едят лебеду. Кору. Землю. А вы говорите об угрозе.

Спенсер молчал. Потом кивнул.

— Я понимаю. Поэтому я здесь. Помогаю вам строить.

— Поэтому вы здесь, — повторил Сорокин, но в его голосе не было благодарности. Была усталость.

Часом позже, в соседней комнате, Джеймс Кук пил кофе с двумя молодыми советскими инженерами. Комната была маленькой — стол, четыре стула, карта мира на стене. Из окна было видно, как грузчики разгружают ящики с оборудованием. Внизу, на авеню, толпились безработные — их стало больше за последние месяцы.

— ...и вот этот станок, — говорил один из инженеров, молодой, с умными глазами и тёмными волосами, — он требует регулярной калибровки. Если делать её по инструкции, получите плюс тридцать процентов к сроку службы. Если пропустите — встанет через год.

Кук слушал краем уха. Он смотрел на этого инженера — Николай Бережной, двадцать три года, из Краснодара, отличник, член партии с девятнадцати лет. Прибыл на стажировку три недели назад. Живёт в общежитии, питается в дешёвых забегаловках, шлёт письма домой каждый день.

— Вы хорошо знаете технику, Николай, — сказал Кук, ставя чашку. — Где учились?

— В Краснодарском политехническом, — ответил Бережной. — А потом два года на заводе. Практика.

— И как вам Америка?

Инженер замялся. Второй — его звали Сергей, постарше, с бородкой и усталыми глазами — усмехнулся:

— Скажи ему правду, Коля. Он же свой.

— В Америке хорошо, — сказал Бережной осторожно. — Машины хорошие. Дороги. Еды много.

— Но?

— Но, — Бережной помолчал. — Но у нас будет лучше.

Кук улыбнулся.

— Уверены?

— Должны быть уверены, — сказал Бережной твёрдо. — Мы строим социализм. А вы строите капитализм. Наша система справедливее.

— Справедливее, — повторил Кук. — А как же голод? Как же чистки?

Тишина повисла в комнате. Сергей отодвинул чашку и встал.

— Я пойду, — сказал он. — У меня ещё чертежи.

Он вышел, оставив дверь открытой. В коридоре кто-то громко говорил по-английски — ругался. Потом хлопнула дверь.

Бережной смотрел в окно. Кук ждал.

— Вы не понимаете, — сказал наконец Бережной. — Вы смотрите на нас сверху. Для вас мы — дикари, которые пытаются строить заводы. Но вы не знаете, что такое жить в стране, где всё разрушено. Где каждый кирпич — это кровь.

Где...

Он замолчал.

— Где? — мягко спросил Кук.

— Где я должен был украсть мешок пшеницы, чтобы моя жена не умерла с голоду, — выдохнул Бережной. — Где моего отца посадили за то, что он сказал правду. Где...

Он закрыл лицо руками.

Кук не двигался. Он ждал. В таких моментах нельзя торопиться. Человек должен сам принять решение. Только тогда оно будет крепким.

— Николай, — сказал он через минуту. — Я понимаю вас. Правда. Я тоже не всегда согласен с тем, что происходит в моей стране.

— Вы американец, — глухо сказал Бережной. — У вас всё есть.

— У нас есть безработица. И расовая ненависть. И люди, которые умирают от голода в Аппалачах. И дети, которые работают на фабриках. — Кук наклонился ближе. — Разница не в системах, Николай. Разница в людях. Есть хорошие люди и плохие. И есть те, кто хочет жить просто — спокойно, без страха.

Бережной поднял голову. Глаза его были красными.

— Чего вы хотите?

— Ничего, — Кук откинулся на спинку стула. — Просто поговорить. У меня здесь нет друзей. А вы — умный человек. С вами интересно.

Бережной долго смотрел на него. Потом кивнул.

— Ладно. Поговорим.

Кук улыбнулся.

— Тогда приходите завтра в семь. В кафе на Сорок седьмой улице. Знаете такое?

— Знаю.

— Отлично. Поговорим о технике. И о жизни.

Он встал и вышел, оставив Бережного одного. В коридоре он столкнулся со Спенсером.

— Ну? — спросил тот тихо.

— Первый контакт, — ответил Кук, не останавливаясь. — Он наш. Через месяц.

— Не торопись.

— Я никогда не тороплюсь, Артур. Ты знаешь.

Они разошлись в разные стороны. Кук спустился на лифте, вышел на улицу и закурил. Нью-Йорк шумел, дышал, жил. Где-то в этом шуме были его агенты, его источники, его будущее. Но сейчас он смотрел на небо — голубое, чистое, — и думал о том, что через месяц он сядет на пароход и поплывёт в страну, о которой знает только по книгам. Страну, где люди умирают от голода и верят в светлое будущее.

Он выдохнул дым и пошёл вниз по авеню, растворяясь в толпе.

В тот же вечер, когда Сорокин подписывал контракт с Альбертом Каном, в маленькой комнате общежития на Брайтоне сидел молодой инженер Иван Каганович и чинил

американский радиоприёмник.

Он купил его у матроса за пять долларов — все свои сбережения. Приёмник был старый, «Телефункен», ещё немецкий, с большими лампами и потрескавшимся корпусом. Но Иван любил возиться с техникой. Это было единственное, что успокаивало его после длинного дня на стройке — там, где он помогал собирать конвейер для Сталинградского тракторного.

Он сидел за столом, подкручивал конденсатор, слушал шипение. Лампы грели воздух, пахло пылью и канифолью. Из динамика доносились обрывки голосов — английских, немецких, иногда итальянских. Он не понимал большинства слов, но ему нравился сам ритм. Как будто весь мир говорил одновременно, а он, Иван, сидел в центре и слушал.

— Иван! — крикнул кто-то из соседней комнаты. — Выключи свою шарманку! Спать не даёшь!

— Сейчас, — ответил он, не оборачиваясь.

Он нашёл настройку, где шум был минимальным. Оттуда доносился голос — женский, медленный, почти сонный. Она читала цифры. Иван не знал, зачем. Может, шифровка. Может, просто тренировка диктора. Он слушал ритм: четыре, два, ... четыре, два... четыре, два... семнадцать, девять, два, два, ноль, четырнадцать, восемь, четырнадцать... Он не запоминал. Просто слушал, 4, 2, ... 4, 2 ... 4, 2 ... 17, 9, 2, 0, 14, 8, 14...

Читка цифр продолжалась минут семь или восемь, потом

голос смолк, и динамик заполнился треском — белым шумом, который так напоминал Ивану дождь. Дождь по крыше. Дождь по листьям. Дождь, под которым он стоял на перроне, когда уезжал из родного Днепропетровска.

Он выключил приёмник и долго сидел в тишине. За окном горел Нью-Йорк — миллиарды огней, миллиарды жизней. А он был один. Совсем один. И только этот приёмник связывал его с чем-то большим — с миром, который он не понимал, но чувствовал каждой клеткой.

Завтра будет новый день. Завтра он снова пойдёт на стройку, где американские инженеры будут учить его, как собирать конвейер. Завтра он снова увидит Артура Спенсера — высокого блондина, который смотрит на него с каким-то странным интересом.

Иван лёг на кровать, закрыл глаза и стал думать о доме. О жене, которая ждала его в Днепропетровске. О сыне, которого он ещё не видел. О будущем, которое казалось таким близким — и таким далёким.

Радиоприёмник молчал. Но белый шум всё ещё звучал у него в голове.

Глава 2. Поезд через океан

Сентябрь 1931 года

Пароход «Манхэттен» отчалил от причала в полдень. Нью-Йорк провожал его гудками и дымом — тысячи труб, тысячи заводов, которые ещё дышали, но уже понимали, что скоро задохнутся. Великая депрессия добралась и до этого города, но сегодня, в час отплытия, казалось, что Америка всё ещё сильна. Пассажиры третьего класса стояли на нижней палубе, прижавшись к поручням, и смотрели, как статуя Свободы медленно тает в дымке.

Артур Спенсер стоял у правого борта, заложив руки в карманы пальто. Рядом с ним, перегнувшись через перила, курил Фриц Фогель — немецкий инженер, с которым они познакомились вчера в порту. Фриц был ниже ростом, коренастый, с жёсткими рыжими волосами и лицом, которое казалось вырезанным из сосновой коры. Ему было сорок пять, но выглядел он на все шестьдесят — война, эмиграция, смерть жены и двое детей, оставшихся в Германии, сделали своё дело.

— Смотри, — сказал Фриц, выпустив струю дыма. — Они думают, что мы везём им счастье.

Он кивнул в сторону двух молодых советских инженеров, которые стояли чуть поодаль и оживлённо о чём-то спорили. Один из них был тот самый Николай Бережной — Артур

узнал его по описанию Кука. Второй, постарше, с чёрной бородкой и быстрыми глазами, называл себя Сергеем, но Артур подозревал, что это псевдоним. Слишком уж правильная у него была биография — партийный стаж с восемнадцати, два ордена, командировка в Америку как награда.

— Мы везём им станки, — ответил Артур, не отрывая взгляда от горизонта. — А счастье они построят сами. Если смогут.

Фриц усмехнулся.

— Ты циник, Артур.

— Реалист.

— Реалисты не едут в Россию в тридцать первом году, — Фриц бросил окуроч за борт. — Реалисты сидят дома и считают деньги. А мы с тобой — авантюристы. Идеалисты. Дураки.

— Ты не веришь в то, что делаешь?

Фриц помолчал. Ветер трепал его волосы, и он пригладил их рукой — привычное движение, от которого на лбу оставалась белая полоса.

— Верю в деньги, — сказал он наконец. — И в то, что мои дети не умрут с голоду. А остальное... остальное пусть философы решают.

Артур ничего не ответил. Он знал, что Фриц тоже работает на них — на УСС, хотя тогда организация называлась иначе и даже не имела официального имени. Но они никогда не обсуждали это напрямую. Так было безопаснее.

Пароход шёл семь дней. Семь дней качки, запаха солянки и дешёвой тушёнки, которую подавали на завтрак, обед и ужин. Семь дней, в течение которых Артур почти не спал — он боялся упустить что-то важное, какой-нибудь разговор, какой-нибудь жест, который потом, через годы, мог стать ключом к вербовке.

Он вёл дневник. Не настоящий — в кожаном переплёте, который можно было бы найти при обыске. Нет, его дневник был шифром, вписанным в поля технических отчётов, которые он якобы составлял для «General Electric». Цифры, знаки, намёки. Любой, кто прочитал бы эти бумаги, увидел бы только сухие расчёты — напряжение, силу тока, коэффициент полезного действия. Но Артур знал: через двадцать лет, когда этот дневник извлекут из архива, в нём прочитают историю целой операции.

«7 сентября 1931. — писал он, сидя в своей каюте третьего класса. — Бережной Н. проявляет интерес к политическим дискуссиям. Сегодня за ужином спорил с Сергеем П. о коллективизации. Бережной: „Мы убиваем крестьянство“. Сергей: „Мы создаём новый класс“. Бережной замолчал и больше не проронил ни слова. Потенциал высокий. Но нужен рычаг. Жена? Дети? Брат? Проверить.»

Он закрыл блокнот и спрятал его под матрас. В каюте было душно — маленькое помещение на четверых, с двумя двухъярусными койками и одним иллюминатором, выходящим на корму. Сейчас в каюте никого не было — его соседи

ушли играть в карты в общий салон. Артур мог бы пойти с ними, но ему нужно было побыть одному.

Он вынул из кармана маленький радиоприёмник — карманный, с тонким шнуром для наушника. Включил. Поискал частоту. Сквозь шипение и треск пробился голос — далёкий, почти неразборчивый. Диктор читал новости на английском: «...президент Гувер объявил о новых мерах по борьбе с кризисом...»

Артур выключил приёмник. Новости его не интересовали. Ему нужна была тишина. Тишина, чтобы подумать о том, что ждёт их в России.

Он вспомнил свой первый визит в СССР — пять лет назад, в двадцать шестом. Тогда он был просто инженером, который приехал налаживать оборудование на заводе в Ленинграде. Никакой разведки, никаких заданий. Он просто работал, смотрел, слушал. И постепенно понял: эта страна станет главным врагом Америки. Не сейчас, не завтра, но через двадцать-тридцать лет, когда она поднимется на ноги.

И тогда он сам пришёл в УСС. Предложил свои услуги. Сказал: «Я знаю их технику. Я знаю их психологию. Я знаю, как с ними говорить.» Его взяли. И вот теперь он плывёт в Днепропетровск, чтобы строить завод, который через десять лет будет выпускать танки для Красной армии.

Но его задача — не строить. Его задача — искать. Смотреть, слушать, запоминать. И находить тех, кто через двадцать лет будет принимать решения.

На четвёртый день плавания Артур вышел на палубу ночью. Ветер стих, море было спокойным — чёрное, маслянистое, с серебряной дорожкой от луны. Он смотрел на воду и думал о доме. О жене, которая осталась в Нью-Йорке. О сыне, которому было два года и который, возможно, забудет его лицо к тому времени, как он вернётся.

— Не спится?

Он обернулся. Из темноты вышел Фриц, держа в руке две кружки с чем-то горячим.

— Кофе, — сказал он, протягивая одну. — Поганный, но горячий.

Артур взял кружку. Кофе действительно был отвратительным — горький, с примесью цикория. Но тепло разлилось по телу, и это было приятно.

— Спасибо.

Они стояли молча, глядя на луну. Потом Фриц сказал:

— Я думал о твоих словах. О том, что мы строим им империю.

— И что ты решил?

— Я решил, что это не моя забота. — Фриц отпил кофе и поморщился. — Я инженер. Я строю заводы. Что на них будут делать — танки или трактора — это не моё дело.

— А если танки? — спросил Артур. — Если через десять лет эти танки поедут на Берлин? Или на Париж? Или на Нью-Йорк?

Фриц усмехнулся.

— Ты слишком много думаешь, Артур. Это плохо для сердца.

— А ты слишком мало.

— Может быть. — Фриц допил кофе и бросил кружку за борт. — Но я хотя бы сплю спокойно.

Он ушёл, оставив Артура одного. Артур долго стоял, глядя на луну. Потом достал радиоприёмник, включил и поймал знакомую частоту. Голос диктора — женский, спокойный — читал цифры. Артур не запоминал — это был не его код. Просто слушал ритм. Белый шум, который помогал ему забыть, зачем он здесь.

На шестой день Артур заметил, что Бережной часто смотрит на него. Не прямо — исподлобья, как будто украдкой. Но взгляд был тяжёлым, изучающим. Артур сделал вид, что не замечает.

Они встретились в коридоре, когда Артур шёл в уборную. Бережной стоял у иллюминатора и смотрел на море.

— Товарищ Спенсер, — сказал он, когда Артур поравнялся с ним.

— Мистер Спенсер, — мягко поправил Артур. — Я не коммунист.

Бережной усмехнулся.

— Извините. Мистер Спенсер. Можно спросить?

— Спрашивайте.

— Зачем вы едете в СССР?

Артур остановился. Вопрос был неожиданным — не из

тех, что задают случайным знакомым на пароходе.

— Работа, — сказал он. — Я инженер. Мне заплатили — я поехал.

— Только работа?

— А что ещё?

Бережной помолчал. В его глазах было что-то — сомнение? Надежда? Страх?

— Я думал, — сказал он медленно, — что, может быть, вы верите в то, что мы строим. В социализм.

— Я верю в технику, — ответил Артур. — Техника не обманывает. А политика... политика меняется каждый день.

— Но вы же американец. У вас капитализм. Вы должны ненавидеть нас.

— Должен? — Артур улыбнулся. — Я никому ничего не должен, молодой человек. Я просто делаю свою работу.

Он хотел уйти, но Бережной схватил его за рукав.

— Подождите. Я хочу... я хочу понять. Вы видели Америку. Вы видели наш Союз. Что лучше?

Артур посмотрел на него. Молодой, наивный, запуганный. Таким был он сам двадцать лет назад.

— Знаете, — сказал он тихо, — лучше всего там, где ты можешь говорить правду и не бояться, что за это посадят. А где это — в Америке или в СССР — решайте сами.

Он ушёл, оставив Бережного стоять у иллюминатора.

Вечером того же дня Артур сидел в общем салоне и слушал, как группа советских инженеров обсуждает предсто-

ящую работу. Они говорили громко, с азартом, перебивая друг друга. Артур понимал только половину — его русский был ещё слабым. Но он вслушивался в интонации, в паузы, в то, что не договаривали.

— ...американцы дадут нам станки, — говорил Сергей, тот, с бородкой. — А мы дадим им золото. Справедливый обмен.

— Справедливый? — возразил кто-то. — Они дерут втридорога!

— Дорого — не дорого, — сказал третий. — Главное — скорость. Сталин сказал: «Мы должны пробежать расстояние от сохи до трактора за десять лет». И мы пробежим.

— А что потом? — спросил Бережной. Он сидел в углу, закинув ногу на ногу. — Пробежим. А дальше?

Все замолчали.

— Дальше будет светлое будущее, — сказал Сергей. — Коммунизм.

— Коммунизм, — повторил Бережной. — А вы видели коммунизм? Я нет.

— Увидишь, — отрезал Сергей. — Если доживёшь.

Тишина повисла в салоне. Кто-то кашлянул. Артур встал и вышел.

В коридоре он столкнулся с Фрицем.

— Слышал? — спросил Фриц.

— Слышал.

— Бережной — опасный человек. Слишком много дума-

ет.

— Именно поэтому он нам нужен, — сказал Артур. —
Думающие люди легче вербуются.

Фриц усмехнулся.

— Ты циник, Артур.

— Реалист.

На седьмой день они увидели берег. Сначала тонкую полосу на горизонте, потом серые скалы, потом зелёные холмы. Пароход вошёл в Финский залив, и вода стала спокойнее, зеленее, прозрачнее.

Артур стоял на носу и смотрел на приближающуюся землю. Ленинград был ещё далеко, но уже чувствовался запах — не Нью-Йорка, не моря, а чего-то другого. Земли, воды, лесов. И горечи.

Рядом встал Бережной.

— Красиво? — спросил он.

— Да, — ответил Артур. — Красиво.

— Это моя родина, — сказал Бережной. — Я родился в ста верстах отсюда. В Краснодарском крае. Там степи. Там воздух... другой. Пахнет полынью.

— Вы скучаете?

— Всегда.

Они молчали, глядя на берег. Пароход гудел, чайки кружили над мачтами, и в этом шуме Артур слышал что-то ещё — что-то, что он не мог объяснить. Может быть, это была надежда. Может быть, страх.

— Мистер Спенсер, — сказал вдруг Бережной. — Вы сказали, что лучше там, где можно говорить правду. А вы говорите правду?

Артур посмотрел на него.

— Не всегда, — признался он. — Но я стараюсь.

— Я тоже стараюсь, — сказал Бережной. — Но иногда правда стоит дороже, чем я могу заплатить.

Он отошёл, оставив Артура одного.

В Ленинграде их встречал оркестр. Духовой, с медными трубами и большим барабаном. На причале стояли люди в пиджаках и кепках — представители партии, наркоматов, профсоюзов. Они улыбались, жали руки, говорили правильные слова.

Артур шёл по трапу, таща за собой тяжёлый чемодан. Впереди него шёл молодой человек в выцветшей гимнастёрке — помогал грузить ящики с оборудованием. Артур зачем-то посмотрел на него. Высокий, худой, с тёмными волосами и серыми глазами. Лицо уставшее, но взгляд живой, цепкий.

— Простите, — сказал Артур на ломаном русском. — Вы не поможете с чемоданом?

Молодой человек обернулся. Улыбнулся.

— Конечно, товарищ.

Он легко подхватил чемодан и понёс к машине. Артур пошёл следом, замечая, как ловко парень управляетсся с тяжёлой ношей. Рабочие руки — мозолистые, сильные.

— Как вас зовут? — спросил Артур.

— Иван, — ответил парень. — Иван Каганович.

Артур мысленно отметил фамилию. Каганович. Не родственник ли того самого Лазаря?

— Вы работаете здесь?

— Да, на стройке. Помогаю монтировать оборудование. А вы, наверное, инженер из Америки?

— Да, — сказал Артур. — Из Америки.

— Хорошо, — сказал Иван. — У нас таких, как вы, много. Мы рады вам. Будете учить нас работать по-новому.

— Будем, — сказал Артур, забирая чемодан. — Обязательно будем.

Он достал из кармана маленький блокнот и сделал пометку: «Каганович Иван. Высокий, худой, смекалист. Глаза грустные. Потенциал».

Потом сел в машину и уехал в гостиницу.

За окном проплывал Ленинград — гранит, вода, колонны. Город, построенный на костях. Город, который должен был стать столицей нового мира.

Артур смотрел и слушал белый шум — шипение приёмника, который он включил в кармане. Голос диктора читал цифры. Артур не запоминал — это был не его код. Просто слушал ритм.

Ритм будущей войны.

Часть вторая.

Вербовки (1931—1933)

Глава 3. Днепрогэс, сентябрь 1931

Дождь начался на рассвете и не прекращался до самого вечера. Он шёл ровно, без порывов, как будто кто-то на небе открыл кран и забыл его закрыть. Вода стекала по крышам барачных, собиралась в лужи, растекалась по глинистой земле, превращая стройку в месиво из грязи, бетона и человеческих сил.

Иван Каганович стоял под навесом у сборочного цеха и смотрел на Днепр. Река была серой, тяжёлой, вздувшейся от осенних дождей. Там, где строители возводили плотину, вода кипела и пенилась, как будто сама природа сопротивлялась тому, что люди пытались её обуздать.

— Иван! — крикнул кто-то из цеха. — Иди сюда! Американцы приехали!

Он обернулся. Из цеха выскочил его напарник Петро — маленький, лысоватый, с вечно мокрыми руками. Петро работал на стройке с самого начала, знал каждую балку, каждый болт, каждую душу.

— Какие американцы? — спросил Иван, хотя уже дога-

дался.

— Те самые, из «General Electric». Конвейер привезли. Говорят, за месяц соберут. — Петро вытер лицо рукавом. — Иди, посмотри. Там один высокий, светлый. Спрашивал тебя.

Иван усмехнулся.

— Меня? Зачем?

— А чёрт его знает. Может, ты ему понравился. Иди, не бойся. Они не кусаются.

Иван отряхнул гимнастёрку, поправил кепку и пошёл в цех.

Цех был огромным — железобетонный каркас, стеклянная крыша, сквозь которую просачивался серый свет. Пахло мазутом, свежей краской и ещё чем-то кислым — то ли химией, то ли потом сотен рабочих, которые трудились здесь в три смены.

В центре цеха стояли ящики. Деревянные, с маркировкой на английском, обшитые металлическими лентами. Вокруг них сустились люди — советские рабочие, несколько инженеров в хороших костюмах, два американца в кожаных куртках.

Иван сразу узнал одного из них. Высокий, светловолосый, с лицом, которое трудно запомнить. Тот самый, с ленинградского вокзала. Тот, который просил помочь с чемоданом. Спенсер, кажется.

Американец стоял у ящика и что-то объяснял переводчи-

ку — молодой женщине в синем платке. Она кивала и переводила быстро, без запинки.

— ...этот станок требует особой калибровки, — говорил Спенсер. — Если делать по инструкции, он прослужит двадцать лет. Если пропустить хотя бы одну операцию — встанет через год.

Переводчица повторила по-русски. Инженеры закивали. Один из них, пожилой, с орденом на пиджаке, спросил:

— А кто будет калибровать?

— Вы, — ответил Спенсер. — Ваши люди. Я обучу.

Иван подошёл ближе. Ему было интересно — он никогда не видел американских станков так близко. В Днепропетровске, на заводе, где он работал до стройки, станки были старые, немецкие, ещё дореволюционные. А эти — новые, блестящие, пахнувшие заводской смазкой и надеждой.

Спенсер заметил его.

— А, Иван! — сказал он с сильным акцентом, но вполне понятно. — Идите сюда.

Иван подошёл.

— Вы помните меня? — спросил американец.

— Да, товарищ Спенсер. В Ленинграде.

— Зовите меня Артур. Мы здесь не по рангу, а по делу. — Он похлопал по ящику. — Вот, смотрите. Это ваш новый конвейер. Сталинградский тракторный. Но сначала он будет здесь, для обучения. Вы будете учиться на нём, а потом поедете в Сталинград и научите других.

— Я? — Иван опешил. — Я простой механик.

— Вы — лучший механик, которого я видел в Днепропетровске, — сказал Спенсер. — Я справлялся о вас. У вас золотые руки.

Иван покраснел. Он не привык к похвале, особенно от иностранца. В их бригаде хвалили тех, кто не высовывался, кто делал своё дело и молчал. А он, Иван, всегда высовывался. Чинил то, что другие выбрасывали, придумывал то, чего не было в инструкциях.

— Спасибо, — сказал он тихо.

— Не благодарите. Работайте, — Спенсер достал из кармана блокнот и что-то записал. — Завтра начинаем обучение. В восемь утра. Приходите.

Вечером Иван вернулся в барак. Барак был старым, ещё с гражданской войны, но его недавно отремонтировали — побелили стены, вставили стёкла, поставили новые железные кровати. В комнате на восемь человек жило двенадцать, но это было лучше, чем в землянках, где они ютились два года назад.

Соседи уже спали — кто-то храпел, кто-то бормотал во сне. Иван лёг на свою койку, но заснуть не мог. Он думал о станке, о конвейере, об американце Спенсере.

Что ему нужно? Почему он выбрал именно Ивана? Таких, как он, здесь сотни. Может, потому что Иван — дальний родственник того самого Кагановича? Но это ничего не даёт — Лазарь Каганович даже не знает о его существовании. Иван

писал ему письмо два года назад, просил помочь с переводом в Москву. Ответа не получил.

Он закрыл глаза и попытался уснуть. Но в голове звучал голос Спенсера: «У вас золотые руки».

Иван улыбнулся. Впервые за долгое время ему было тепло.

На следующий день обучение началось. Спенсер оказался хорошим учителем — терпеливым, внимательным, но требовательным. Он показывал каждую деталь, объяснял каждый штифт, заставлял повторять снова и снова, пока не получалось идеально.

— Станок не прощает ошибок, — говорил он. — Он как женщина. Если вы её обидели, она запомнит навсегда.

Иван слушал и запоминал. Он чувствовал металл руками — гладкий, холодный, живой. Он понимал, как он работает, как дышит, как болит, если его неправильно настроить.

Через три дня Спенсер сказал:

— Иван, вы готовы. Сегодня соберёте конвейер сами.

— Сам?

— Да. Я буду смотреть. Если ошибётесь — скажу.

Иван начал. Руки двигались сами — закручивали гайки, вставляли болты, проверяли натяжение. Он не думал, он делал. Как будто знал этот станок всю жизнь.

Через два часа конвейер был собран.

Спенсер подошёл, проверил каждое соединение. Потом поднял голову и улыбнулся.

— Отлично, Иван. Лучше, чем я ожидал.

— Спасибо, — сказал Иван, вытирая пот со лба.

— Не благодарите. Завтра повторим.

Иван кивнул. Ему нравилось это слово — «завтра». Оно означало, что он нужен.

Через неделю они уже работали как старая команда. Спенсер доверял Ивану самые сложные узлы, а Иван не подводил. Другие рабочие смотрели на него с завистью и уважением. Кто-то говорил, что Иван — «выскачка», что он «примазывается к американцам». Но большинство молчали. Им было не до сплетен — нужно было работать.

Однажды вечером, после смены, Спенсер пригласил Ивана в свою комнату в общежитии. Комната была маленькой, но чистой — кровать, стол, стул, радиоприёмник на подоконнике. На столе лежали бумаги, карандаши, чашка с остывшим чаем.

— Садитесь, — сказал Спенсер, указывая на стул. — Хотите чаю?

— Спасибо, нет.

— Тогда поговорим.

Иван сел. Ему было не по себе. Он чувствовал, что разговор будет не о станках.

— Иван, — начал Спенсер, — вы знаете, что происходит в стране?

— Что вы имеете в виду?

— Голод. Чистки. Аресты. Вы слышите об этом?

Иван промолчал. Он слышал. Каждый день. Но говорить об этом с иностранцем было опасно.

— Не бойтесь, — сказал Спенсер. — Здесь только вы и я. Никто не узнает.

— Зачем вам это? — спросил Иван. — Вы американец. Какое вам дело до наших проблем?

— Мне не всё равно, — ответил Спенсер. — Я вижу, как вы работаете. Вы — талантливый инженер. Вы могли бы стать большим человеком. Но система, в которой вы живёте, не даёт вам шанса. Она давит вас. Уничтожает ваших близких.

Иван побледнел.

— Откуда вы знаете про моих близких?

— Я справлялся. Ваш отец — бывший офицер царской армии. Его посадили в двадцать девятом за «вредительство». Он в лагере. Ваш брат — тоже. Ваша мать умерла от голода в прошлом году.

Иван встал.

— Вы следили за мной?

— Я интересовался вами, — спокойно сказал Спенсер. — Потому что вы мне интересны. Потому что вы — человек, который может изменить свою жизнь.

— Как? Предать Родину? — Иван почти кричал.

— Спасти её, — ответил Спенсер. — От неё самой.

Иван сел обратно. Голова кружилась. Он смотрел на американца и не понимал — враг он или друг?

— Что вы хотите? — спросил он тихо.

— Немногого. Иногда — просто информация. Иногда — помощь. Не для Америки. Для себя. Чтобы вы могли жить спокойно. Чтобы ваша семья была в безопасности.

— А если откажусь?

— Тогда вы уйдёте и забудете этот разговор. Я не буду вас преследовать. Не буду шантажировать. Вы просто продолжите свою жизнь.

— И вы поверите, что я никому не расскажу?

— Поверю, — сказал Спенсер. — Потому что если вы расскажете, вас арестуют. И расстреляют. Или отправят в лагерь. А я уеду в Америку. Мне ничего не будет.

Иван смотрел на свои руки. Они дрожали.

— У меня есть жена, — сказал он. — И сын. Он родился, когда я был здесь. Я его ещё не видел.

— Я знаю, — сказал Спенсер. — Я могу помочь вам их перевезти. В Москву. Или в Ленинград. В безопасное место.

— Зачем вам это?

— Потому что я хочу, чтобы вы работали на меня. А человек, который боится за свою семью, работает лучше.

Иван закрыл лицо руками. Он не плакал — он не мог плакать. Внутри была пустота. Такая же, как в цехе после того, как выключали свет.

— Что я должен делать? — спросил он наконец.

— Сейчас — ничего, — ответил Спенсер. — Просто учитесь. Работайте. А когда придёт время, я скажу.

— А если я не захочу?

— Тогда скажете «нет». И мы забудем.

— Я не могу сказать «нет», — прошептал Иван. — Вы знаете.

Спенсер подошёл к подоконнику и включил радиоприёмник.

Из динамика послышалось шипение. Белый шум. Потом — голос. Женский. Спокойный.

— Слушайте, — сказал Спенсер. — Это «Голос Америки». Здесь говорят правду.

Иван слушал. Голос рассказывал о голоде в Поволжье, об арестах в Ленинграде, о том, что Сталин скрывает от народа. Иван не всё понимал — английский был слабым. Но интонации — гнев, боль, надежда — доходили до самого сердца.

— Выключите, — попросил он.

Спенсер выключил.

— Теперь вы знаете, — сказал он. — Выбор за вами.

Иван встал. Пошёл к двери. Остановился.

— Я согласен, — сказал он, не оборачиваясь. — Но если вы обманете меня... если моя семья пострадает... я найду вас. Где бы вы ни были.

— Не обману, — сказал Спенсер. — Я тоже человек.

Иван вышел. В коридоре было темно. Он прислонился к стене и закрыл глаза.

Белый шум всё ещё звучал у него в голове.

На следующий день Иван пришёл на работу как обычно.

Никто ничего не заметил. Он так же собирал станки, так же учил других, так же слушал Спенсера. Но что-то изменилось.

Он смотрел на портрет Сталина, висевший в цехе, и думал: «Ты — мой враг». И боялся этой мысли.

Он смотрел на Петро, своего напарника, и думал: «Если он узнает — убьёт». И боялся Петро.

Он смотрел на американца и думал: «Ты — мой спаситель». И боялся его.

Страх стал его тенью. Он повсюду следовал за Иваном — на работе, в бараке, даже во сне.

Но ночью, когда все спали, Иван включал свой маленький радиоприёмник — тот самый, купленный у матроса в Нью-Йорке — и слушал белый шум. И в этом шуме ему слышался голос. Не диктора. Не Спенсера.

Свой собственный.

Голос, который говорил: «Ты не предатель. Ты — человек, который хочет жить».

Иван верил этому голосу.

Потому что больше верить было не во что.

Глава 4. Краснодар, зима 1931—1932

Метель началась на Крещение. Не сразу — сначала потянул низкий, злой ветер с Азовского моря, принёсший запах соли и гниющих водорослей. Потом небо обложило тяжёлыми, свинцовыми тучами, и температура упала так резко, что деревья трещали, как выстрелы. А под утро повалил снег — густой, липкий, налипавший на провода и крыши, превращавший улицы Краснодара в белые коридоры.

Николай Бережной проснулся от холода. Печка в бараке прогорела ещё в полночь, и сейчас в комнате было не теплее, чем на улице. Он лежал на деревянной койке, укрывшись двумя одеялами и старым тулупом, и слушал, как ветер гудит в щелях. Рядом, свернувшись калачиком, спала Мария — его жена. Она была на пятом месяце, живот уже заметно округлялся, и спать ей становилось всё труднее. Николай осторожно поправил одеяло, чтобы ей было теплее, и встал.

Пол был ледяным. Босиком он прошлёпал к печке, пощупал — холодная, как смерть. Дров не было. Угля тоже. Вчера он отдал последние поленья соседям — у них родился ребёнок, и они топили печь, чтобы младенец не замёрз. Свои дети у Николая ещё будут, но чужих ему было жалко.

Он оделся — гимнастёрка, стёганные штаны, кирзовые сапоги, поверх — старый полушубок, подаренный отцом ещё до того, как отца посадили. Надел шапку-ушанку и вышел

на улицу.

Метель ударила в лицо. Снег был такой плотный, что за три шага ничего не было видно. Барак, в котором они жили, стоял на окраине города, рядом с маслозаводом — единственным предприятием, которое ещё дымило в этом районе. До райкома партии нужно было идти пешком минут сорок, но сегодня, в такую погоду, — все полтора часа.

Николай пошёл. Ноги утопали в снегу по колено. Ветер рвал полушубок, залезал под гимнастёрку, леденил спину. Но он шёл. Нельзя было опоздать — сегодня пленум райкома, и он, как секретарь комсомольской ячейки, должен был выступать. Тема — «О задачах комсомола в борьбе за хлеб».

«За хлеб», — подумал Николай с горечью. У них самих хлеба не было. Вчера Мария варила пустые щи из крапивы, собранной ещё осенью. Крапива была горькой, жёсткой, но что поделаешь — другого не осталось.

Он вспомнил, как три года назад, до коллективизации, у его родителей была корова, куры, огород. Отец — бывший красный командир, герой гражданской — работал в продотряде, забирал хлеб у кулаков. А потом сам попал под раздачу. «Троцкист», — сказали. «Вредитель», — сказали. Посадили. Мать осталась одна с пятью детьми. Через год умерла от тифа. Николай тогда был в Москве, на курсах. Вернулся — уже не застал.

Он шёл и думал: за что? За что он, комсомолец, партийный активист, должен красть? Потому что другого выхода

нет. Потому что если он не принесёт Марии еду, она умрёт. И ребёнок умрёт.

Он сжал кулаки и ускорил шаг.

Райком партии располагался в старом купеческом особняке — двухэтажном, с колоннами и лепниной, которая уже начала осыпаться. Внутри было тепло — топили дровами, которые возили из лесничества специально для партийных работников. Пахло махоркой, потом и старыми бумагами.

Николай сдал полушубок в гардероб и поднялся на второй этаж. В коридоре уже толпились люди — секретари ячеек, председатели колхозов, партийные активисты. Все в пиджаках, при галстуках, хотя на улице метель. Здесь, в райкоме, было как в другом мире — чисто, прилично, сытно. В буфете продавали бутерброды с колбасой. Настоящей. Докторской.

Николай отвернулся, чтобы не видеть. Голодный желудок свело судорогой.

— Бережной! — окликнул его кто-то.

Он обернулся. Из кабинета первого секретаря выходил Фриц Фогель — немецкий инженер, который работал на маслозаводе. Николай знал его уже месяц — они познакомились на партсобрании, где Фриц выступал с докладом о новых технологиях. Немец говорил по-русски с сильным акцентом, но грамотно и убедительно.

— Здравствуйте, Фриц Карлович, — сказал Николай, пожимая протянутую руку.

— Здравствуйте, Николай. Выступаете сегодня?

— Да. О хлебе.

Фриц усмехнулся.

— О хлебе. У вас его нет, а вы будете говорить, как его добывать.

Николай нахмурился.

— Вы о чём?

— Ни о чём, — Фриц оглянулся, понизил голос. — Приходите сегодня после заседания. Ко мне в барак. Поговорим.

— О чём?

— О жизни, — сказал Фриц и ушёл, не дожидаясь ответа.

Заседание длилось три часа. Выступали долго, нудно, с цифрами и лозунгами. Председатель колхоза «Красный луч» докладывал о плане заготовок: «Сдали сто двадцать процентов!» — и все хлопали, хотя Николай знал, что в этом колхозе люди едят лебеду и кору. Первый секретарь райкома товарищ Громов говорил о вредителях и кулацких подпевалах, которые «мешают строительству социализма». Его слушали с каменными лицами.

Николай выступал четвёртым. Он вышел на трибуну, посмотрел на зал — сотни глаз, уставших, равнодушных, голодных. И сказал то, что от него ждали: «Комсомол должен быть в первых рядах борцов за урожай! Мы не допустим срыва планов!» Голос звучал твёрдо, но внутри всё дрожало. Он знал, что это ложь. И все знали. Но никто не говорил правду.

После заседания к нему подошёл Громов — грузный, с красным лицом и маленькими заплывшими глазками.

— Хорошо выступил, Бережной, — сказал он, похлопывая Николая по плечу. — Молодец. Растёшь. Думаю, на следующей неделе утвердим тебя вторым секретарём райкома комсомола.

— Спасибо, товарищ Громов, — сказал Николай, стараясь не выдать радости.

— Не благодари. Работай. И помни — партия не прощает ошибок.

Он ушёл, тяжело ступая по паркету. Николай остался один. Второй секретарь — это уже должность. Это комната в общежитии для руководящих работников, это усиленный паёк, это надежда, что Мария и ребёнок не умрут.

Он подумал о предложении Фрица и решил: пойду.

Барак Фрица стоял у самого завода, за колючей проволокой — там жили иностранные специалисты. Условия были лучше, чем у советских рабочих — отдельные комнаты, электричество, даже горячая вода по расписанию. Часовой у входа проверил документы и пропустил Николая.

Фриц встретил его на пороге. В комнате было тепло, пахло кофе — настоящим, молотым, который здесь, в голодной Кубани, стоил целое состояние.

— Проходи, садись, — сказал Фриц, указывая на стул. — Кофе будешь?

— Спасибо, — Николай сел. — Зачем я вам?

— Поговорить, — Фриц разлил кофе по кружкам. — Ты умный человек, Николай. Я вижу. Ты понимаешь, что про-

исходит вокруг. Голод, чистки, ложь. Ты не такой, как эти...
— он махнул рукой в сторону райкома. — Ты думаешь.

— Думать опасно, — сказал Николай.

— Опасно, — согласился Фриц. — Но не думать — ещё опаснее. Потому что если не думать, то можно превратиться в скотину. А ты человек.

Николай отпил кофе. Горький, обжигающий. Настоящий. Давно он не пил настоящего кофе.

— Чего вы хотите, Фриц Карлович?

— Хочу, чтобы ты прочитал кое-что, — Фриц достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги. — Прочитай дома. В спокойной обстановке. А потом решай — хочешь ли поговорить ещё.

— Что это?

— Письмо. От одного старого большевика. Того, кто был у истоков. Кто знал Ленина. Кто видел, во что превращается их дело.

Николай взял лист. Бумага была тонкой, почти прозрачной — явно не советского производства.

— Это опасно, — сказал он.

— Всё опасно, — ответил Фриц. — Даже чашку кофе выпить. Но иногда риск — единственный способ остаться человеком.

Николай спрятал письмо во внутренний карман гимнастёрки.

— Я подумаю.

— Думай, — сказал Фриц. — Но не слишком долго. Время не ждёт.

Домой Николай вернулся поздно. Мария уже спала, свернувшись под тулупом. Он зажёл керосиновую лампу — фитиль чадил, но света было достаточно. Сел за стол, достал письмо.

Бумага была исписана мелким, убористым почерком — по-русски, но с ошибками, как будто автор давно не писал на этом языке. Подписи не было. Только дата: «Октябрь 1930, Соловки».

Николай начал читать.

«Товарищ, если ты это читаешь, значит, я уже мёртв. Или скоро умру. Меня зовут... неважно. Я был членом партии с семнадцатого года. Воевал за Советскую власть. Строил новую жизнь. А теперь сижу в лагере за то, что сказал правду.

Правда в том, что Сталин предал Ленина. Он строит не социализм, а империю. Он убивает крестьянство. Он уничтожает партию. Он превращает нашу страну в тюрьму.

Если ты честный человек, ты должен бороться. Не с Советской властью — с теми, кто её захватил. Ты должен помнить: коммунизм — это свобода. А там, где нет свободы, нет коммунизма.

Товарищ, я не призываю тебя к восстанию. Я призываю тебя думать. И когда придёт время — действовать.

Прощай.»

Николай перечитал письмо три раза. Потом четвёртый. Руки дрожали — от холода, от страха, от чего-то ещё, что он не мог назвать.

Это была правда. Он знал. Каждый день, каждую минуту он знал, что всё, что они строят — ложь. Но он боялся признаться себе.

Он разорвал письмо на мелкие клочки и хотел выбросить в печку. Но потом замер. Собрал клочки, спрятал в карман. Не сейчас. Потом.

Он лёг рядом с Марией, обнял её, закрыл глаза. Но сон не шёл. В голове звучали слова из письма: «Там, где нет свободы, нет коммунизма».

Через три дня Марии стало хуже. Она жаловалась на головокружение, на слабость, на боль в животе. Николай побегал в медпункт, привёл фельдшера. Тот осмотрел, покачал головой.

— Недоедание, — сказал он. — Истощение. Нужно усиленное питание. Мясо, яйца, молоко. Иначе... — он не договорил.

Николай знал, что «иначе». Иначе выкидыш. Иначе смерть.

Мяса не было. Яиц не было. Молока не было. В городе — голод, в колхозах — голод, везде голод.

Он сидел у постели Марии и думал. Думал о том, как украсть. О том, где достать. О том, что если его поймают — расстрел. Или лагерь. Но если он не украдёт, Мария умрёт.

Он встал, надел полушубок и вышел.

Ночь была морозной, безлунной. Снег скрипел под ногами, как наждак. Николай шёл к окраине, где, он знал, стояли склады с зерном — для партийных работников, для милиции, для «нуждающихся» по спискам. Обычным людям туда хода не было.

Забор был высоким, с колючей проволокой. Но Николай знал лазейку — старый лаз, который проделали такие же отчаявшиеся, как он. Он пролез через дыру, поранив руку о проволоку, и оказался на территории склада.

Зерно лежало в мешках, штабелями. Пахло пылью, мышами и чем-то сладковатым — тем самым хлебом, которого не было в их доме.

Он схватил мешок — килограммов двадцать — и побежал к лазу. Сердце колотилось где-то в горле. Казалось, что вот-вот завоет сирена, залают собаки, застучат выстрелы.

Но тишина. Только ветер и скрип снега.

Он уже пролезал в лаз, когда чья-то рука схватила его за шиворот.

— Стоять, — сказал голос. — Не дёргайся.

Николай замер. Внутри всё оборвалось. Конец. Расстрел. Лагерь.

Но голос сказал:

— Повернись.

Он повернулся. Перед ним стоял Фриц Фогель — в тулупе, шапке, с винтовкой за плечом.

— Фриц Карлович... — прошептал Николай.

— Молчи, — Фриц огляделся. — Иди за мной.

Он вывел Николая через другой лаз — тот, что вёл к заводу. Потом через заводской двор, мимо цехов, к своему ба-
раку. Внутри было тепло, пахло кофе. Фриц указал на стул.

— Садись.

Николай сел. Мешок с зерном поставил на пол. Руки тряслись.

— Вы меня убьёте? — спросил он.

— Зачем? — Фриц налил ему кружку воды. — Пей. И слушай.

Николай пил. Вода была холодной, но он не чувствовал.

— Ты не вор, — сказал Фриц. — Ты человек, который пытается спасти свою семью. Система против тебя. Она заставляет тебя красть, чтобы выжить. Она заставляет тебя лгать, чтобы не умереть. Она превращает тебя в животное.

— Что вы предлагаете? — спросил Николай.

— Помочь друг другу, — Фриц сел напротив. — Ты будешь помогать мне. А я — тебе. Еда, деньги, защита. Твоя жена не умрёт. Твой ребёнок родится. А взамен — немного информации. О том, что происходит в райкоме. Кто с кем спит, кто ворует, кто недоволен. Мелочи. Ничего такого, что можно было бы назвать изменой.

— Измена есть измена, — сказал Николай.

— Измена — это предать своих, — возразил Фриц. — А ты не предаёшь. Ты спасаешь. Спасаешь свою жену. Своего

ребёнка. Свою совесть. Потому что если ты сейчас уйдёшь и ничего не возьмёшь, Мария умрёт. И ты будешь винить себя всю жизнь. Вот это будет измена. Измена тем, кто тебе дорог.

Николай смотрел на мешок с зерном. Потом на свои руки — грязные, обмороженные, дрожащие.

— Вы знали, что я пойду на склад, — сказал он. — Вы следили за мной.

— Да, — признался Фриц. — Я знал. Потому что я знаю тебя, Николай. Ты не способен смотреть, как умирает твоя семья. Ты бы пошёл на что угодно. Даже на кражу. Даже на убийство.

— Вы специально подстроили?

— Я подстроил, — сказал Фриц. — Потому что мне нужен такой человек, как ты. Умный, смелый, отчаянный. И потому что я хочу тебе помочь.

— Помочь? — Николай усмехнулся. — Вы хотите сделать из меня шпиона.

— Я хочу сделать из тебя человека, который выживет, — ответил Фриц. — А шпион — это ярлык, который придумали те, кто боится правды. Ты не будешь шпионом. Ты будешь моим другом. И я буду твоим другом. А друзья помогают друзьям.

Николай долго молчал. Потом спросил:

— Кто вы на самом деле, Фриц Карлович?

Фриц улыбнулся.

— Я инженер. Я немец, который бежал от Гитлера. Я ком-

мунист, который разочаровался в коммунизме. Я человек, который хочет, чтобы в мире было меньше страданий. Этого достаточно?

Николай покачал головой.

— Нет. Но выбора у меня нет.

— Выбор есть всегда, — сказал Фриц. — Ты можешь уйти. Забрать зерно. Забыть о нашем разговоре. Я не буду тебя преследовать. Но помни: если тебя поймают с этим мешком, тебя расстреляют. А я не смогу тебе помочь, если ты откажешься.

— А если я соглашусь?

— Тогда ты возьмёшь мешок, отнесёшь домой, накормишь жену. А завтра мы с тобой поедem в город и купим молока и яиц. У меня есть связи.

Николай закрыл глаза. Он представил Марию — бледную, исхудавшую, с тёмными кругами под глазами. Представил, как она улыбается, когда он принесёт еду. Представил, как родится ребёнок — здоровый, крепкий, с голубыми глазами.

— Я согласен, — сказал он, не открывая глаз.

— Хорошо, — Фриц похлопал его по плечу. — Тогда иди. Твоя жена ждёт.

Николай поднял мешок и пошёл к двери. На пороге остановился.

— Фриц Карлович... если я узнаю, что вы меня обманули... я вас убью.

— Не обману, — сказал Фриц. — Обещаю.

Дома Мария спала. Николай поставил мешок в угол, разжёг печку, сварил кашу. Потом разбудил жену.

— Ешь, — сказал он, подавая миску.

Мария посмотрела на кашу, потом на него.

— Откуда? — спросила она шёпотом.

— Не важно, — ответил Николай. — Ешь.

Она ела медленно, маленькими ложками, как будто боялась, что каша исчезнет. Николай смотрел и чувствовал, как внутри растёт что-то тяжёлое, липкое — стыд.

Но он говорил себе: я спас её. Я спас. И это главное.

На следующее утро Николай пришёл к Фрицу. Немец ждал его с двумя бидонами — молоко и яйца.

— Держи, — сказал он. — Это тебе. А теперь — поговорим.

Они сели за стол. Фриц достал блокнот и карандаш.

— Расскажи мне о Громе. Что он говорил на пленуме? Кто с ним спорил? Кто подлизывался?

Николай начал рассказывать. Сначала нехотя, потом — всё свободнее. Слова лились сами, как будто он только и ждал возможности выговориться.

Когда он закончил, Фриц кивнул.

— Хорошо. Теперь слушай меня. Ты будешь делать карьеру. Я помогу. Ты будешь подниматься по лестнице — второй секретарь, первый, потом в крайком. А когда придёт время — ты будешь готов.

— К чему?

— К большому делу, — сказал Фриц. — Которое изменит мир.

Николай не спросил, к какому. Он боялся ответа.

Вечером, когда Мария уснула, он достал клочки разорванного письма, сложил их на столе и долго смотрел. Потом зажёг спичку и поднёс к бумаге.

Огонь жадно лизнул клочки, превращая их в пепел. Пепел кружился в воздухе, оседал на столе, на полу, на руках Николая.

Он думал: вот так исчезают люди. Вот так исчезают идеи. Вот так исчезает правда — в огне и дыме.

Но где-то, в самом дальнем углу души, он знал: правда не исчезает. Она ждёт. Она всегда ждёт.

А белый шум — он остаётся.

Глава 5. Свердловск, весна 1932

Март на Урале — месяц обмана. Солнце светит ярко, снег тает, с крыш падает капель, и кажется, что весна уже пришла. А через час налетает ветер с севера, небо затягивает серой пеленой, и начинается метель, которая замечает только что появившиеся проталины. И тогда все понимают: весна ещё не скоро. Зима здесь хозяйка, и она не уступает без боя.

Зинаида смотрела в окно обкома на улицу Карла Либкнехта — бывшую Покровскую, где до революции стояли особняки купцов и промышленников. Теперь в этих особняках размещались партийные учреждения, а в бывшем купеческом клубе — столовая для номенклатурных работников. Ей часто приходилось бывать в той столовой — подавала обеды секретарям, записывала заказы, улыбалась.

Она улыбалась всегда. Это было её оружие. Улыбка обезоруживала, расслабляла, заставляла мужчин говорить лишнее. А Зинаида слушала и запоминала. Потом перепечатывала на машинке — аккуратно, без ошибок. И прятала в папку с грифом «Секретно». Начальство доверяло ей. Её называли «наша Зина» — добрая, тихая, незаметная. Никто не знал, что за этой тихой улыбкой скрывается острый ум и ещё более острый страх.

Сегодня она перепечатывала письмо из «Амторга» — то самое, что пришло из Нью-Йорка с грифом «Совершенно

секретно». В нём говорилось о задержках поставок оборудования для Уралмаша, о том, что американские инженеры требуют дополнительной оплаты, и о том, что Москва «рекомендует» ускорить процесс любой ценой. Зинаида печатала и думала о том, как эти сухие строчки превратятся в жизнь — в чьи-то переработки, в чьи-то аресты, в чью-то смерть. Она уже знала: если план не выполняется, виноватых находят. А если виноватых нет — их создают.

Она поставила последнюю точку, вынула лист из машинки и положила в папку. На столе лежали ещё три письма, два доклада и список «ненадёжных элементов» по Свердловской области. Список был длинным — сто сорок семь фамилий. Напротив каждой стояла пометка: «арестовать», «выслать», «наблюдать». Зинаида знала некоторых из этого списка. Соседа по коммуналке, который любил выпить и при посторонних ругал власть. Учительницу из школы, где учился её племянник, — та говорила детям, что «Бог есть». Старого слесаря с завода, который в тридцатом году написал письмо в газету с критикой коллективизации. Все они были опасны. Все они были врагами. Так говорили в обкоме. Так писала «Правда». Так думала Зинаида — пока не случилось то, что случилось.

А случилось вот что: три дня назад она получила письмо. Конверт был грязным, без обратного адреса, с маркой, погашенной на почтамте Свердловска. Внутри — листок бумаги, вырванный из школьной тетради, и несколько строк,

написанных печатными буквами, чтобы нельзя было узнать почерк:

«Товарищ Зинаида. Нам известно о вашей связи с товарищем Смирновым. Если вы не хотите, чтобы об этом узнали в НКВД, приходите завтра в семь вечера в парк на Плотинке. Стойте у фонаря. Не приводите никого. Иначе — расстрел.»

Зинаида перечитала письмо пять раз, потом сожгла в печке, глядя, как бумага корчится в огне. Руки не дрожали. Она научилась не дрожать. Но внутри всё кричало.

Смирнов — второй секретарь обкома, сорок пять лет, женат, двое детей. Их связь длилась уже полгода. Она началась случайно — после партийного собрания, где Смирнов напился и попросил её проводить его до машины. В машине он поцеловал её. Она не сопротивлялась. Не потому, что хотела, а потому, что боялась отказать. Второй секретарь мог сделать её карьеру — или уничтожить.

Они встречались раз в неделю — в его кабинете после работы, в гостинице, иногда в её комнате, когда мужа не было дома. Смирнов был грубым, нетерпеливым, почти не разговаривал после. Зинаида терпела. Она привыкла терпеть.

Но теперь об этом кто-то узнал. И требовал встречи.

В парке на Плотинке — там, где река Исеть перегорожена старой плотиной, ещё екатерининских времён, — вечером было пустынно. Февральский ветер гулял по аллеям, сдувая снег с лавочек. Фонари горели тускло, через один, создавая

длинные, пляшущие тени.

Зинаида пришла без четверти семь. Надела старую шубку, платок, валенки — чтобы походить на простую работницу, а не на секретаршу обкома. В сумке — бутерброд с салом (на всякий случай) и маленькие ножницы (тоже на всякий случай). Она не знала, кто её ждёт. Может, шантажист. Может, провокатор. Может, агент НКВД, проверяющий её на лояльность.

Она встала у фонаря, как было велено. Ждала. Снег скрипел под ногами. Где-то лаяла собака. Потом слышались шаги — ровные, спокойные, не крадущиеся. Из темноты вышел мужчина в чёрном пальто и шляпе. Лица не разглядеть — только тень.

— Зинаида? — спросил он тихо, с лёгким акцентом.

— Да.

— Вы пришли одна?

— Одна.

— Хорошо. — Он подошёл ближе. Теперь она увидела его лицо — обычное, не запоминающееся, с усталыми глазами. Лет тридцать пять, не больше. — Меня зовут Джеймс. Можно просто Джеймс.

— Вы американец? — спросила Зинаида. Акцент был похож на тот, с которым говорили инженеры из «Амторга».

— Допустим, — он улыбнулся. — Это не важно. Важно другое: я знаю про вас и Смирнова. И я знаю, что вы умная женщина. Поэтому я не буду вас шантажировать. Я предложу

сделку.

— Какую?

— Вы будете мне помогать. Не всегда, не каждый день. Только когда я попрошу. А взамен я позабочусь о том, чтобы ваше письмо не попало в НКВД.

— Вы его написали? — Зинаида сжала сумку.

— Я его отправил, — спокойно ответил Джеймс. — Но это не важно. Важно, что я могу его и остановить. Оно лежит у моего человека, который ждёт моего звонка. Если я не позвоню — завтра утром оно будет у начальника областного управления НКВД. Если позвоню — сгорит. Выбор за вами.

— А если я откажусь, убьёте?

Джеймс улыбнулся шире.

— Зачем убивать? Вы живая приносите больше пользы. Нет, Зинаида, мы не убийцы. Мы просто... бизнесмены. Мы покупаем и продаём информацию. Вы будете продавать, я — покупать. Честная сделка.

— Что именно вы хотите знать?

— Всё, — сказал Джеймс. — Что говорят секретари. Какие письма приходят из Москвы. Кто из руководителей недоволен. Кто ворует. Кто спит с кем. Мелочи, которые для вас — обычная работа, а для нас — картина мира.

— Вы шпион, — прошептала Зинаида.

— Я — друг, — ответил Джеймс. — Друг, который поможет вам выжить. Потому что если вы сейчас уйдёте и откажетесь, завтра вас арестуют. Ваш муж — рабочий, у него

нет связей. Смирнов от вас откажется, чтобы спасти себя. Вы останетесь одна, Зинаида. А одна в этой стране — значит труп.

Она смотрела на него и понимала: он прав. Смирнов откажется. Муж ничего не сможет. Она умрёт в подвале НКВД, подписав все признания, которые от неё потребуют. Или сгинет в лагере.

— А если я соглашусь? — спросила она.

— Тогда вы будете жить, — сказал Джеймс. — И жить хорошо. У вас будет комната, потом квартира, потом, может быть, дача. Ваш муж получит повышение. Вы будете ездить в Москву, в Ленинград, за границу. Вы будете счастливы.

— Счастлива? — Зинаида усмехнулась. — С предательством в душе?

— Предательство — это когда предаёшь своих, — повторил Джеймс почти дословно то, что Фриц говорил Николаю. — А вы будете предавать врагов. Сталина, его приспешников, эту систему, которая убивает миллионы. Вы будете не предательницей, Зинаида. Вы будете спасительницей.

Она молчала. Ветер дул в лицо, и слёзы замерзали на щеках.

— Хорошо, — сказала она. — Я согласна.

Джеймс кивнул.

— Тогда слушайте. Завтра вы перепечатаете список «ненадёжных». Снимите копию — тайно, так, чтобы никто не заметил. Положите в конверт и опустите в почтовый ящик

на углу Ленина и Первомайской. Просто опустите — без марки, без обратного адреса. Мы его заберём.

— И всё?

— И всё, — сказал Джеймс. — А через неделю я скажу, что делать дальше. Не бойтесь, Зинаида. Всё будет хорошо.

Он повернулся и ушёл в темноту. Шаги затихли. Зинаида осталась одна у фонаря, среди снега и ветра.

Дома её ждал муж — Семён, рабочий Уралмаша, невысокий, коренастый, с вечно уставшими глазами. Он сидел за столом, пил чай из жестяной кружки и читал газету «Уральский рабочий».

— Поздно, — сказал он, не поднимая головы.

— Заседание затянулось, — ответила Зинаида, снимая шубку. — Отчёт печатали.

— Голодная? — спросил он. — Я оставил тебе хлеб. На столе.

Она посмотрела на стол — лежал ломоть чёрного хлеба, намазанный постным маслом. Семён делился с ней, хотя сам недоедал. Он был хорошим человеком — добрым, заботливым, верным. Он не знал ни про Смирнова, ни про письмо, ни про встречу в парке. И никогда не узнает. Так будет лучше.

— Спасибо, — сказала она, взяла хлеб и откусила маленький кусочек. Жевать не хотелось. Но надо было — Семён заметил бы, если бы она не съела.

Она съела. Потом легла на кровать, отвернулась к стене

и закрыла глаза. Семён погасил лампу и лёг рядом. Через минуту он уже храпел.

А Зинаида лежала с открытыми глазами и думала. Думала о том, что завтра она станет шпионкой. Что она будет перепечатывать секретные документы и красть копии. Что её могут поймать, расстрелять, отправить в лагерь. И что другого выхода нет.

Она вспомнила слова Джеймса: «Вы будете не предательницей, а спасительницей». И впервые за долгое время почувствовала что-то похожее на надежду.

На следующий день Зинаида пришла в обком раньше обычного. Уборщица тётя Паша мыла полы в коридоре, пахло хлоркой и мастикой. Зинаида поздоровалась, прошла в свой кабинет — маленькую комнатку рядом с приёмной первого секретаря. Здесь стояли стол, стул, пишущая машинка «Ундервуд», сейф и вешалка. На стенах — портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. В углу — икона, оставшаяся от прежних хозяев. Зинаида не убирала её. Икона напоминала о бабушке, которая научила её молиться.

Она села за стол, открыла сейф — код знала только она и первый секретарь — и достала папку со списком «ненадёжных». Сто сорок семь фамилий. Сто сорок семь судеб.

Она положила лист на стол, заправила машинку чистой бумагой и начала печатать. Пальцы бегали по клавишам быстро, почти беззвучно — она научилась печатать так, чтобы никто не слышал. Важно было не привлекать внимания.

Через десять минут список был готов. Она сняла его с машинки, положила рядом с оригиналом. Сравнила — точно, ни одной ошибки. Потом сложила копию втрое, засунула в конверт и спрятала в карман юбки. Сердце колотилось где-то в горле.

В дверь постучали. Она вздрогнула.

— Войдите, — сказала, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

Вошел первый секретарь обкома — грузный мужчина с седыми усами и тяжёлым взглядом. Он был новым — прислали из Москвы после того, как предыдущего арестовали за «правый уклон». Зинаида его побаивалась.

— Доброе утро, Зинаида, — сказал он, не глядя на неё. — Подготовьте отчёт о работе комсомольских организаций за первый квартал. К завтрашнему утру.

— Слушаюсь, — ответила она.

Он вышел. Зинаида выдохнула. Пронесло.

В обед она отпросилась «в аптеку». Вышла на улицу, прошла по Ленина до Первомайской, нашла почтовый ящик. Оглянулась — никого. Опустила конверт. Сердце замерло на секунду, потом забилось снова.

Она постояла, глядя на синюю жестяную коробку, и подумала: вот так начинается предательство. Не с выстрела, не с взрыва, а с маленького конверта, опущенного в почтовый ящик.

Потом пошла обратно в обком. По пути зашла в аптеку,

купила пузырёк валерьянки — для вида. Дома он пригодится.

Через три дня в почтовом ящике на углу Ленина и Первомайской появился новый конверт — без марки, без обратного адреса. В нём лежала записка:

«Спасибо, Зинаида. Всё правильно. Ваше письмо сожжено. Следующее задание — через неделю. Ждите сигнала. Джеймс».

Она прочитала и сожгла в печке. Пепел полетел в трубу.

В последующие недели Зинаида передала ещё три документа: план хлебозаготовок по области, список сотрудников обкома, «неблагонадёжных» с точки зрения первого секретаря, и копию шифровки из Москвы о «чистке партийных рядов». Каждый раз она боялась, что её поймают. Каждый раз обходилось.

Джеймс появлялся раз в две недели — в парке, на рынке, в очереди за хлебом. Они никогда не разговаривали долго — несколько фраз, обмен конвертами, и всё. Ни имён, ни явок. Только почтовые ящики и условные знаки.

Однажды, уже в апреле, когда снег наконец-то начал таять по-настоящему, Джеймс сказал:

— Вы хорошо работаете, Зинаида. Мы довольны. В награду — вашего мужа повысят до бригадира. А Смирнов больше вас не побеспокоит.

— Что вы сделали? — спросила она.

— Не важно, — улыбнулся Джеймс. — Важно, что вы сво-

бодны. От него. От страха. Теперь вы работаете на нас добровольно.

Она хотела возразить, но поняла: он прав. Она уже не боялась. Точнее, боялась, но по-другому. Не того, что её арестуют, а того, что её работа прекратится. Что она останется одна, без этого тайного смысла, который наполнял её дни.

Джеймс ушёл. А Зинаида постояла ещё немного, глядя на реку, которая освобождалась ото льда. Вода была тёмной, холодной, но живой. И ей показалось, что она тоже оживает. Что в ней, наконец, появилось что-то настоящее — пусть даже это «настоящее» было предательством.

Дома Семён встретил её новостью:

— Зина, меня назначили бригадиром! — сказал он, сияя.
— Сегодня приказ подписали. Говорят, кто-то из обкома замолвил слово. Ты не знаешь кто?

— Не знаю, — ответила Зинаида, целуя его в щёку. — Но я рада за тебя.

Она радовалась и за себя. Потому что теперь у неё была не только тайная жизнь, но и явная — с мужем, с работой, с надеждой на лучшее. И если для этого нужно было предавать — что ж, она будет предавать.

Она включила маленький радиоприёмник, который ей передал Джеймс, — плоский, почти невидимый, ловящий только одну волну. Из динамика послышалось шипение. Белый шум. Потом — голос. Женский. Спокойный. Цифры.

Она не понимала, что они значат. Но слушала. И в этом

ритме ей слышалось что-то успокаивающее. Как будто кто-то на другом конце мира знал о ней и заботился.

Она выключила приёмник, спрятала под подушку и легла спать.

Семён уже храпел. За окном капала капель — последний снег таял, обнажая чёрную, мокрую землю. Весна приходила на Урал. И Зинаида знала: вместе с ней приходит что-то новое. Что-то, чего она боялась и ждала одновременно.

Она закрыла глаза и провалилась в сон — без снов, без мыслей, без страха. Просто белый шум, который убаюкивал её, как мать убаюкивает ребёнка.

А за окном, в темноте, кто-то стоял и смотрел на её окно. Джеймс. Он курил, выпуская дым в холодный воздух, и думал о том, что эта женщина — одна из лучших, которых он завербовал. Тихая, незаметная, но с железными нервами. Она пройдёт далеко. Очень далеко.

Он бросил окуроч в лужу, повернулся и ушёл в ночь, оставив за собой только тающий дым и лёгкий запах американских сигарет.

— *Конец пятой главы* —

Глава 6. Москва, Кремль, осень 1932

Кабинет Сталина находился на третьем этаже Сенатского дворца, в том самом крыле, где раньше размещалась канцелярия Сената. Теперь здесь пахло не чернилами и сургучом, а табаком, кожей и едва уловимым запахом пота — тем особенным запахом, который появляется, когда в помещении подолгу находятся люди, принимающие решения о жизни и смерти.

Стены кабинета были обиты светлыми панелями из карельской берёзы. На полу — тяжёлый паркет, натёртый до блеска. На столе — зелёное сукно, чернильный прибор, несколько телефонов разного цвета (прямая связь с наркоматами, с военными округами, с дачей в Сочи). На подоконнике — неизменная трубка, ещё полная, но уже остывшая.

Сталин стоял у окна и смотрел на кремлёвскую стену, за которой угадывалась Красная площадь. Был конец октября, солнце уже не грело, но светило ярко, подчёркивая каждую трещину в камне, каждую неровность мостовой. Он любил этот вид — не за красоту, а за символизм. Там, за стеной, лежал город, который он отстроил заново после гражданской войны. Там, дальше, лежала страна, которую он поднимал из руин. И там, ещё дальше, лежал мир, который он хотел переделать по своему образу и подобию.

— Товарищ Сталин, — раздался голос сзади. — Все со-

брались.

Сталин не обернулся. Он знал, что это Поскрёбышев — его секретарь, бессменный, верный, такой же незаметный, как стены.

— Кто? — спросил он, не меняя позы.

— Молотов, Каганович, Орджоникидзе, Ягода. И начальник иностранного отдела ОГПУ.

— Зови.

Сталин медленно повернулся, прошёл к столу, сел в кресло — тяжёлое, с высокой спинкой, которое он предпочитал всем остальным. Достал трубку, набил табаком — не торопясь, тщательно, как будто это было самым важным делом в его жизни. Закурил. Только после этого кивнул Поскрёбышеву.

Дверь открылась, и в кабинет вошли пятеро.

Первым — Молотов, председатель Совнаркома, с неизменным пенсне и лицом, напоминающим каменную маску. Он был вторым человеком в партии и знал это, но никогда не показывал.

За ним — Каганович, первый секретарь Московского комитета, коренастый, с тяжёлой челюстью и быстрыми, цепкими глазами. Он был из тех, кого Сталин называл «железными». Такие не гнутся, но и не думают — они выполняют.

Орджоникидзе — нарком тяжёлой промышленности, грузин, как и Сталин, но более живой, более горячий. Он один мог позволить себе спорить с вождём — и иногда даже вы-

игрывал.

Ягода — заместитель председателя ОГПУ, худой, бледный, с глазами, которые никогда не смотрели прямо. Он был тенью, но тенью опасной.

И наконец — начальник иностранного отдела, человек без имени, без лица, в одинаковом с Ягодой костюме. Сталин знал его кличку — «Слепой», потому что тот никогда не смотрел на собеседника, а вёл разговор, глядя куда-то в сторону, как будто видел то, что другие не замечали.

— Садитесь, — сказал Сталин, указывая на длинный стол, накрытый зелёным сукном.

Они сели. Молотов — слева от Сталина, Каганович — справа. Остальные — напротив, по ранжиру.

— Докладывайте, — сказал Сталин, выпустив клуб дыма.

Первым начал Орджоникидзе. Он говорил громко, быстро, с грузинским акцентом, который становился заметнее, когда он волновался.

— Товарищ Сталин, по плану индустриализации мы выполнили восемьдесят процентов. Уралмаш запущен досрочно. Сталинградский тракторный — тоже. Днепрогэс даст ток в следующем году. Американцы и немцы работают хорошо. Но есть проблемы.

— Какие? — спросил Сталин.

— Цены. Они дерут втридорога. А мы платим золотом. Золотом, товарищ Сталин! Которое могли бы пустить на внутренние нужды.

— Золото — это металл, — спокойно ответил Сталин. — А заводы — это мощь. Что важнее?

— И то, и другое, — вмешался Каганович. — Но есть ещё один момент. Иностранцы — они не просто работают. Они смотрят. Слушают. Запоминают.

Сталин повернулся к Ягоде.

— Что говорит ОГПУ?

Ягода кашлянул — сухо, нервно.

— Товарищ Сталин, у нас есть сведения, что некоторые из иностранных инженеров связаны с разведкой. Американцы — особенно. Мы выявили несколько подозрительных контактов.

— Кого именно? — спросил Сталин.

Ягода замялся.

— Пока — никого конкретно. Только косвенные улики. Встречи в неположенных местах, письма, которые не проходят через цензуру. Но мы ведём наблюдение.

— Наблюдение, — повторил Сталин. — Этого мало. Я хочу имён, Ягода. Через месяц. Иначе вы сами будете наблюдать за собой из камеры.

Ягода побледнел ещё больше, но кивнул.

— Будет сделано, товарищ Сталин.

Тогда заговорил «Слепой» — тихо, почти шёпотом, но так, что каждое слово было слышно.

— Товарищ Сталин, у нас есть информация, что американцы не только шпионят, но и пытаются вербовать. Среди

наших инженеров, среди партийных работников. Они ищут недовольных. Голодных. Напуганных.

— Вербовать? — Сталин нахмурился. — Кого именно?

— Пока — мелкую сошку. Начальников смен, секретарей райкомов, машинисток. Тех, кого можно использовать для передачи информации.

— И что они хотят узнать?

— Всё, — ответил «Слепой». — Планы производства, расположение заводов, настроения в партии. Но главное — они играют вдолгую. Они вербуют тех, кто через десять-двадцать лет сам станет руководителем.

Сталин отложил трубку.

— Через двадцать лет, говорите? Значит, они думают, что мы не продержимся и двадцати лет?

— Они готовятся к худшему, — сказал Молотов. — Как и мы.

Сталин встал, прошёлся по кабинету. Шаги его были мягкими, почти неслышными — он носил кавказские сапоги из мягкой кожи, которые не скрипели.

— Вот что, товарищи, — сказал он, не глядя ни на кого. — Пусть работают. Пусть строят. Пусть даже шпионят. Нам нужны их станки, их технологии, их знания. А когда заводы встанут на ноги — мы вышлем их вон. Всех. И американцев, и немцев, и своих собственных, кто с ними связался.

— А вербованные? — спросил Каганович.

— А вербованных — расстреляем, — просто ответил Ста-

лин. — Или отправим в лагерь. Потому что тот, кто продается один раз, продается и второй.

В кабинете повисла тишина. Только часы на стене тикали — старые, ещё царские, с кукушкой, которую Сталин отказался убирать.

— Есть ещё одно, — сказал Орджоникидзе. — Немцы. Гитлер приходит к власти. Они могут стать нашими врагами. Или союзниками. Неясно.

— С Гитлером разберёмся потом, — отмахнулся Сталин. — Сейчас главное — заводы. Всё остальное — потом.

Он вернулся за стол, снова взял трубку, но не закурил.

— Товарищ Ягода, — сказал он. — Усильте наблюдение за иностранцами. Но не трогайте их. Пока не трогайте. Мы не можем позволить себе скандал. Америка нас ещё не признала, и если мы арестуем их граждан, признания не будет никогда.

— Понял, — кивнул Ягода.

— А вы, товарищ Орджоникидзе, — продолжал Сталин, — ускорьте ввод заводов. Любой ценой. Любой. Мне плевать на переутомление, на аварии, на жертвы. Заводы должны работать.

— Понял, — сказал Орджоникидзе, но в голосе его не было прежней уверенности.

— Свободны, — бросил Сталин.

Они встали и вышли. Последним уходил «Слепой». У двери он задержался на секунду, обернулся, хотел что-то ска-

зять, но передумал и вышел.

Сталин остался один.

Он сидел в кресле, курил трубку и смотрел на карту СССР, висевшую на противоположной стене. Карта была огромной — от Балтики до Тихого океана, от Белого моря до Памира. На ней красными флажками были отмечены заводы, стройки, электростанции. Флажков было много — сотни, тысячи. Но ещё больше было белых пятен.

Он думал о том, что сказал «Слепой». Американцы вербуют. Играют вдолгую. Через двадцать лет их агенты могут оказаться в Кремле.

«Через двадцать лет, — подумал Сталин. — Через двадцать лет меня, возможно, уже не будет. Или будет. Но если я сейчас не приму меры, то, кто бы ни пришёл после меня, он будет танцевать под американскую дудку.»

Он докурил трубку, выбил пепел в пепельницу и подошёл к карте. Провёл пальцем по линии — от Москвы до Днепропетровска, от Днепропетровска до Свердловска, от Свердловска до Краснодара. Там, где его палец касался карты, были заводы, стройки, люди. И среди этих людей — те, кто уже продался.

«Ничего, — подумал он. — Мы их переиграем. Мы всех переиграем.»

Он вернулся за стол, нажал кнопку звонка. Вошёл Поскрёбышев.

— Позовите мне товарища Ежова, — сказал Сталин.

— Ежова? — удивился Поскрёбышев. — Он же в Западной Сибири, товарищ Сталин.

— Вызовите. Нужно готовить кадры. На смену Ягоде. На всякий случай.

Поскрёбышев кивнул и вышел.

Сталин снова посмотрел на карту. В голове у него уже созрел план — не сегодняшний, не завтрашний, а на десятилетия вперёд. План, который должен был превратить Советский Союз в неприступную крепость. План, который стоил бы миллионов жизней.

Но он не думал о жизнях. Он думал о цифрах. О флажках. О карте.

Он думал о будущем, в котором не было места ни американцам, ни их агентам, ни их идеям.

Будущее, которое он построит сам.

В тот же вечер, в кабинете начальника иностранного отдела ОГПУ, «Слепой» сидел над досье. Досье были тонкими — всего несколько листов на каждого. Но имена, которые в них значились, заставили бы любого другого человека побледнеть.

Вот Иван Каганович, дальний родственник Лазаря. Подозрение: контакты с американским инженером Спенсером. Неофициальные. Вечерние.

Вот Николай Бережной, секретарь райкома комсомола в Краснодаре. Подозрение: контакты с немецким инженером Фогелем. Вне работы. В ночное время.

Вот Зинаида Козырева (урождённая Некрасова), секретарша обкома в Свердловске. Подозрение: подозрительное поведение, копирование документов, встречи в парке с неизвестным.

«Слепой» смотрел на эти имена и думал. Он мог бы доложить Сталину прямо сейчас. Но что это даст? Мелкая рыба. Никто из них ещё не сделал ничего серьёзного. Если их арестовать сейчас, американцы найдут других. А если оставить — они могут стать ценными источниками. Двойными агентами. Игрушками в руках ОГПУ.

Он решил не докладывать. Пока.

Он закрыл досье, спрятал в сейф и вышел из кабинета. В коридоре было темно — сэкономили электричество. Только дежурный свет горел в конце коридора, и в этом свете «Слепой» увидел свою тень — длинную, тонкую, похожую на сложенный карандаш.

Он усмехнулся. Тень была его вторым «я» — тем, о котором никто не знал. Тем, которое видело всё, но не показывалось.

«Ещё не время, — подумал он. — Всему своё время.»

И тень исчезла в темноте.

А в тысячах километров от Москвы, в бараке на окраине Днепропетровска, Иван Каганович сидел у окна и слушал радиоприёмник. Приёмник был старым, потрескивал, но голос диктора пробивался сквозь шум.

Диктор читал цифры. Иван записывал их в маленький

блокнот, который потом спрячет под половицей. Он не знал, что значат эти цифры. Но ему было приказано слушать и записывать.

Он слушал и думал о жене, которая ждала его в Москве. О сыне, которого он так и не видел. О будущем, которое теперь было не его собственным.

За окном шумел ветер, гнал по земле сухие листья. Белый шум был повсюду — в приёмнике, в ветре, в его голове.

Иван закрыл глаза и провалился в темноту, где не было ни цифр, ни приказов, ни страха.

Только белый шум.

Вечный.

Неумолимый.

Часть третья. Рост и чистки (1934—1939)

Глава 7. Москва, 1934. Корень переезжает

Январь 1934 года выдался в Москве морозным и злым. Столбик термометра опускался до тридцати, а то и до тридцати пяти, и дышать на улице было больно — воздух обжигал лёгкие, как нашатырь. Дым из труб поднимался прямыми столбами и застывал в небе, образуя серую пелену, сквозь которую солнце пробивалось только в полдень и ненадолго. По улицам ездили редкие грузовики — лошади замёрзли бы насмерть, а автомобилей было мало. Люди кутались в тулупы и ватники, бежали от подъезда к подъезду, прятали лица в воротники.

Иван Каганович стоял на перроне Курского вокзала и ждал жену. Поезд из Днепропетровска опаздывал на два часа — где-то в тульских снегах застрял состав, и пассажиров пересаживали на сани. Он пришёл заранее, ещё затемно, и теперь замерзал на деревянной скамье в зале ожидания, где пахло махоркой, кипятком и немытыми телами.

Он приехал в Москву три недели назад. Должность — на-

чальник отдела снабжения в Наркомате тяжёлой промышленности. Третий этаж, кабинет с окном во двор, телефон и сейф. Для человека, который ещё год назад чинил станки в цеху, это был головокружительный взлёт. Иван знал, кому обязан этим повышением. Не Лазарю Кагановичу — тот по-прежнему не замечал своего дальнего родственника. И не своим талантам — хотя они у него были. А американцам. Тем самым, которые дали ему радиоприёмник и научили слушать белый шум.

Его куратор сменился. Артур Спенсер уехал обратно в Америку — говорили, на повышение. Вместо него в Москве появился новый связной, которого Иван знал только как «Стив». Стив был шведом, по крайней мере так он представлялся. Говорил по-русски с лёгким акцентом, носил хорошие костюмы, жил в гостинице «Националь». Встречались они раз в две недели — в парках, в очередях, в театрах. Стив передавал задания, Иван — ответы. Ничего серьёзного пока — копии планов снабжения, ведомости о поставках, списки заводов, работающих в три смены. Мелочи, которые никому не повредят, но помогут американцам понять, как работает советская промышленность.

Иван убеждал себя, что это не предательство. Он не крадёт чертежи танков. Не передаёт военных секретов. Всего лишь цифры. Цифры, которые всё равно известны многим. Но глубоко внутри, там, где пряталась совесть, он знал: это предательство. И оно будет расти, как снежный ком, который

катится с горы и с каждым оборотом становится всё больше, всё тяжелее, всё неотвратимее.

— Иван! — голос разорвал его мысли.

Он поднял голову. В дверях зала ожидания стояла его жена — Настя. Маленькая, в тяжёлом тулупе, с узлом в одной руке и с ребёнком на другой. Ребёнок — сын, которого он никогда не видел, — спал, закутанный в одеяла.

Иван вскочил, побежал к ней. Схватил узел, обнял её — осторожно, чтобы не раздавить ребёнка. Настя пахла дорогой — дымом, морозом и чем-то домашним, забытым.

— Ты живой, — прошептала она. — Я боялась, что не доеду.

— Я здесь, — ответил он. — Теперь мы вместе.

Ребёнок проснулся, заплакал. Иван посмотрел на него — маленькое красное лицо, зажмуренные глаза, кулачки, сжатые в гневе. Сын. Его сын.

— Как назвали? — спросил он.

— Сашей, — ответила Настя. — В честь твоего отца.

Иван сглотнул. Его отец — Александр Каганович, бывший офицер царской армии — сидел в лагере под Воркутой. Третий год. Срок — десять лет. Письма от него приходили редко, через пересылку, с оказией. В последнем он писал: «Живу, работаю, не падайте духом». Иван знал, что значит «работаю» — лесоповал, тридцать градусов мороза, баланда из гнилой рыбы. Он хотел помочь, но не мог. В его положении — дальний родственник Кагановича, молодой на-

чальник отдела — ходатайство за «врага народа» означало бы немедленный арест.

— Поехали домой, — сказал он. — Там тепло.

Они вышли на улицу. Мороз ударил в лицо. Настя закутала ребёнка ещё плотнее. Иван поймал извозчика — редкая удача в такую погоду — и они поехали в центр, в коммуналку на улице Герцена, где им выделили комнату.

Комната была маленькой — десять метров, окно во двор, печка-буржуйка, железная кровать, стол и два стула. Но это было лучше, чем барак в Днепропетровске. И лучше, чем землянка, где они жили с Настей после свадьбы.

Иван затопил печку. Дрова трещали, тепло расплзлось по комнате, согревая стены, которые, казалось, не видели огня много лет. Настя развернула Сашу — тот уже не плакал, смотрел на отца чёрными, ещё не осмысленными глазами.

— Он похож на тебя, — сказала Настя.

— На деда, — ответил Иван. — На Александра.

Они помолчали. Настя достала из узла свёрток — хлеб, сало, банку тушёнки.

— Ешь, — сказала она. — Ты исхудал.

— Я работал много, — ответил Иван, но взял хлеб и откусил.

Хлеб был чёрным, кисловатым, с примесью мякины — обычный паёк. Но после трёх недель на казённых щах он показался Ивану праздничным.

— Как там в Днепропетровске? — спросил он, жуя.

— Плохо, — ответила Настя. — Голод. Люди пухнут. Детей хоронят каждый день. Я боялась, что Саша не выживет.

— Выжил же.

— Выжил. Чудом. Молоко было — соседка давала. Её мужа забрали. Она осталась одна, с тремя детьми. Ей было не до коровы. Мы корову забили в ноябре — мясо солили, ели по ложке в день.

Иван слушал и чувствовал, как внутри поднимается злость. Не на систему — на себя. Он сидит в тёплой комнате, получает усиленный паёк, работает в наркомате, а его жена и сын голодали в Днепропетровске. И он ничего не мог сделать — только ждать, пока вызовет в Москву.

— Теперь всё будет хорошо, — сказал он, обнимая её. — Обещаю.

Она посмотрела на него — усталыми, повзрослевшими глазами.

— Ты не можешь этого обещать, Иван. Никто не может.

Он промолчал. Потому что знал: она права.

На следующее утро Иван пошёл в наркомат. Здание на Пушкинской площади, бывший особняк графа Шереметева, перестроенный под советские нужды. Внутри пахло лаком, мастикой и табаком. По лестницам сновали курьеры, секретарши, инженеры — все занятые, все озабоченные выполнением планов.

Кабинет Ивана находился на третьем этаже, в конце коридора, рядом с сейфовой комнатой. Небольшое помещение —

стол, стул, телефон, карта СССР на стене и портрет Сталина в углу. Иван повесил портрет сам — для солидности. В Днепропетровске он не вешал портретов. Здесь — другое дело. Здесь каждый смотрел на каждого, и если у тебя на стене нет Сталина, ты враг.

Он сел за стол, открыл папку с планами снабжения на первый квартал. Цифры — тысячи тонн металла, сотни станков, десятки вагонов. За каждой цифрой стоял завод, стояли люди, стояла жизнь. Он перебирал листы и думал о том, что часть этих цифр уйдёт к Стиву. А от Стива — в Америку. А от Америки — к тем, кто через двадцать лет будет использовать эту информацию против его страны.

«Моей ли страны?» — подумал он. Он уже не был уверен. В дверь постучали.

— Войдите.

Вошел курьер — мальчишка лет шестнадцати, в гимнастёрке не по размеру, с красной повязкой на рукаве.

— Вам письмо, товарищ Каганович, — сказал он, протягивая конверт.

Иван взял, кивнул. Курьер выскочил.

Конверт был без обратного адреса, с маркой, погашенной на московском почтамте. Иван вскрыл. Внутри — листок бумаги с несколькими строчками:

«Сегодня, в семь вечера. Сквер у Большого театра. Третья скамейка от фонтана. Приходите один. Стив».

Иван сжал листок, потом разорвал на мелкие клочки и

бросил в пепельницу. Чиркнул спичкой, поджёг. Бумага горела быстро, оставляя чёрный пепел. Он смотрел на огонь и думал: «Каждый раз, когда я сжигаю бумагу, я сжигаю часть себя».

В семь вечера в сквере у Большого театра было темно и пустынно. Фонари горели через один, отбрасывая длинные тени на снег. Памятник Карлу Марксу — недавно поставили — возвышался в центре, бородатый, чужой, с каменными глазами.

Иван пришёл без четверти семь. Сел на третью скамейку от фонтана — тот не работал зимой, только трубы торчали из сугроба. Ждал. Мороз щипал щёки, но он не кутался — надо было выглядеть естественно.

Через десять минут из темноты вышел Стив. Высокий, худой, в длинном пальто и кожаных перчатках. Лицо — обычное, не запоминающееся, с небольшими усами, которые придавали ему сходство с чекистом.

— Здравствуйте, Иван, — сказал он, садясь рядом. — Как жена? Как ребёнок?

— Спасибо, хорошо, — ответил Иван. — А вы как?

— Нормально. Работаем. — Стив достал пачку папирос, закурил. — У меня для вас задание.

— Слушаю.

— Вам нужно достать план перевозок металлургических заводов Урала на второй квартал. Конкретно — маршруты, объёмы, сроки. Всё, что есть.

— Это секретно, — сказал Иван. — Гриф «Особой важности».

— Знаю, — кивнул Стив. — Потому и прошу.

— Если меня поймают — расстрел.

— Не поймают, — улыбнулся Стив. — Вы умный человек, Иван. И осторожный. Мы не зря выбрали вас.

— А если поймают?

— Тогда мы вас не знаем, — спокойно ответил Стив. — Вы сами понимаете.

Иван кивнул. Он понимал. Таковы правила игры. Никто никому ничего не должен. И каждый сам за себя.

— Хорошо, — сказал он. — Я сделаю.

— Умница, — Стив потушил папиросу о скамейку, спрятал окурок в карман. — Следующая встреча — через две недели. В парке Горького. У фонтана «Каменный цветок». В шесть вечера.

— Я буду.

Стив встал.

— И ещё, Иван. Мы перевели деньги вашей семье. Тысячу рублей. Настя получит завтра в сберкассе. Это на ребёнка. На молоко.

Иван сжал кулаки.

— Я не просил денег.

— Знаю, — улыбнулся Стив. — Но мы заботимся о своих. До свидания.

Он ушёл, растворился в темноте. Иван остался один. Си-

дел на скамейке, смотрел на памятник Марксу и думал. Тысяча рублей — это огромные деньги. На них можно купить молока, масла, мяса. Саша не будет голодать. Настя отдохнёт. А он — он заплатит за это новой порцией предательства.

Он встал и пошёл домой.

Дома Настя кормила Сашу. Молоко было — Иван купил в гастрономе по дороге. Дорогое, настоящее, коровье. Настя посмотрела на него с удивлением.

— Откуда деньги? — спросила она.

— Аванс дали, — соврал Иван. — В наркомате. За первые успехи.

— Много?

— Достаточно.

Настя не поверила — он видел по глазам. Но не стала спрашивать. Жена чекиста? Нет, жена партийного работника. Она знала: не всё можно спрашивать. Не всё можно знать.

Она покормила Сашу, уложила спать, потом села за стол напротив Ивана.

— Иван, — сказала она тихо. — Что происходит? Ты какой-то... другой.

— Другой?

— Напряжённый. Бледный. Ты не спишь по ночам. Встаёшь к приёмнику, слушаешь что-то. Шипение. Что ты слушаешь?

— Музыку, — ответил Иван. — Джаз. Американский.

— Ты не любишь джаз.

— Теперь люблю.

Она покачала головой.

— Ты меня обманываешь. Я знаю. Но если не хочешь говорить — не говори. Только береги себя. Ради Саши.

Иван взял её руку, поцеловал.

— Обещаю. Ради Саши.

Ночью, когда Настя и Саша уснули, Иван включил радиоприёмник. Тот самый, маленький, плоский, который передал ему Спенсер ещё в Днепропетровске. Приёмник ловил одну волну — ту, на которой передавали цифры.

Он наушники надел — чтобы не разбудить семью. Слушал шипение, треск, обрывки голосов. Потом — тишина. Потом — голос. Женский. Спокойный. Безликий.

«Семнадцать. Девять. Двадцать. Ноль. Восемь. Четырнадцать. Один. Четыре...»

Иван записывал в маленький блокнот. Потом перечитал. Цифры складывались в слова. Слова — в инструкцию. Инструкция — в приказ.

Он понял. Завтра он должен начать копировать документы.

Он выключил приёмник, спрятал под половицу и лёг. Закрыв глаза, но сон не шёл. Он думал о том, что его отец сидит в лагере, а он, сын, предаёт страну, за которую отец воевал. Он думал о том, что его сын вырастет и, возможно, узнает правду. И возненавидит его.

Он думал о том, что другого выхода нет.

И это было самым страшным.

На следующее утро Иван пришёл в наркомат раньше всех. Уборщица тётя Маша мыла полы в коридоре, пахло хлоркой. Он поздоровался, прошёл в свой кабинет, закрыл дверь.

План перевозок лежал в сейфе. Гриф «Особой важности». Только для начальников отделов и выше. Иван знал код — ему доверяли. Он открыл сейф, достал папку.

Сел за стол. Достал лист бумаги — чистый, без водяных знаков. И начал переписывать.

Цифра за цифрой. Маршрут за маршрутом. Тонна за тонной.

Пальцы не дрожали. Сердце билось ровно. Он делал это так же спокойно, как если бы писал отчёт для начальства.

Через час всё было готово. Он свернул лист, спрятал в конверт, заклеил. На конверте написал: «Стиву. Лично». Положил во внутренний карман пиджака.

Папку вернул в сейф. Закрыл. Всё.

Он сидел и смотрел на портрет Сталина. Вождь смотрел на него — строго, с усов. Казалось, он знает. Казалось, он говорит: «Я всё вижу, Каганович. Ты не уйдёшь».

Иван встал, подошёл к портрету, поправил раму. Сказал вслух:

— Ты ничего не знаешь.

И вышел из кабинета.

Через два дня, в парке Горького, у фонтана «Каменный цветок», Иван передал конверт Стиву. Тот спрятал его во

внутренний карман пальто, даже не глядя.

— Спасибо, Иван, — сказал он. — Вы хорошо работаете.

— Когда это кончится? — спросил Иван.

— Что именно?

— Всё. Эта игра. Шпионаж. Ложь.

Стив усмехнулся.

— Никогда, Иван. Игра никогда не кончается. Просто меняются игроки.

— Я не игрок, — сказал Иван. — Я пешка.

— Пешки тоже могут стать ферзями, — ответил Стив. — Если доживут.

Он ушёл. Иван остался стоять у фонтана. Вода не текла — замёрзла. Лёд блестел на солнце, как зеркало, и в этом зеркале Иван увидел своё отражение — усталое, постаревшее, чужое.

Он повернулся и пошёл домой. К жене. К сыну. К жизни, которая теперь состояла из лжи и белого шума.

В ту ночь он опять не спал. Лежал с открытыми глазами и слушал, как Настя дышит во сне. Ровно, спокойно. Она не знала. И не должна была узнать никогда.

Он думал о том, что сказал Стив: «Пешки тоже могут стать ферзями». Что это значит? Повышение? Власть? Или свобода?

Он не знал. Знал только одно: он уже не может остановиться. Слишком глубоко увяз. Слишком много знает. Слишком много должен.

Он встал, подошёл к окну. За окном была Москва — огромная, снежная, злая. Город, в котором он должен был сделать карьеру. Город, в котором он должен был предать.

Иван прижался лбом к холодному стеклу и прошептал:
— Прости меня, отец. Прости.

Никто не ответил. Только ветер выл в трубе, и где-то далеко, в эфире, звучал белый шум.

Вечный.

Неумолимый.

Глава 8. Краснодар, 1935. Степь идёт в гору

Лето 1935 года на Кубани выдалось жарким и хлебным. Пшеница стояла стеной — золотая, тяжёлая, колосья клонились к земле, как будто просили пощады у солнца. Комбайны, первые, американские, ещё «Холт-Катерпиллер», ползали по полям, оставляя за собой ровные полосы стерни. В них пахло бензином, маслом и свежей соломой — запахом, который для Николая Бережного стал запахом новой жизни.

Он стоял на краю поля, в новом костюме — сером, из чесучи, при галстукке — и смотрел, как работают механизаторы. Два года назад он был секретарём райкома комсомола, ютившимся в бараке с беременной женой. Теперь он — второй секретарь райкома партии, кандидат в члены крайкома, человек, которого знают в лицо в Краснодаре и даже в Ростове. У него отдельный кабинет, служебная «эмка» и паёк, позволяющий кормить семью не только хлебом, но и мясом.

Всё это стоило ему предательства. Он знал. Но с каждым месяцем, с каждым новым званием, с каждым новым рублём предательство становилось всё менее заметным. Как шрам, который затягивается кожей и уже не болит. Только иногда, по ночам, когда Мария засыпала, а он оставался один, шрам начинал чесаться — напоминать о себе.

— Товарищ Бережной! — крикнул кто-то с поля. — Иди-

те сюда! Комбайн забарахлил!

Николай вздохнул, поправил галстук и пошёл. Идти по стерне в туфлях было неудобно — ноги скользили, каблуки увязали в земле. Но он не мог позволить себе появиться на поле в сапогах — не по статусу. Второй секретарь должен выглядеть как второй секретарь.

Комбайн стоял посреди поля, выпустив струйку дыма. Из кабины вылез механик — молодой парень в промасленной спецовке, с лицом, перепачканным соляжкой.

— Карбюратор барахлит, — сказал он, вытирая руки ветошью. — Смесь бедная, глохнет на подъёме.

— А где американец? — спросил Николай. — Фриц Карлович? Он же должен был учить.

— Фриц Карлович в городе, — ответил механик. — Вчера уехал. Сказал, вернётся через три дня.

Николай кивнул. Фриц Фогель, тот самый немец, который два года назад завербовал его, теперь работал главным инженером на маслозаводе и по совместительству консультировал колхозы по американской технике. Они встречались редко — раз в месяц, иногда реже. Фриц передавал задания, Николай — информацию. Ничего особенного — настроения в райкоме, планы заготовок, фамилии недовольных. Всё, что можно было добыть, не рискуя.

Но в последнее время задания становились сложнее. Фриц просил копии документов с грифом «Секретно», списки мобилизационных резервов, даже схемы железнодорож-

ных веток. Николай отдавал. И каждый раз после этого чувствовал, как шрам на совести зудит сильнее.

— Ладно, — сказал он механику. — Давайте я посмотрю.

Он залез в кабину, открыл капот. Карбюратор был старый, американский, ещё «Зенит», с регулировочными винтами, которые требовали тонкой настройки. Николай покрутил, послушал, как двигатель чихает, потом затянул винт качества на пол-оборота.

— Давай, — сказал он. — Заводи.

Механик крутанул ручку. Двигатель взревел, затарахтел ровно, без перебоев.

— Работает! — крикнул механик. — Товарищ Бережной, вы как Фриц Карлович — руки золотые.

Николай вылез из кабины, отряхнул костюм.

— Работайте, — сказал он. — План надо выполнять.

Он пошёл обратно к машине. Ветер дул с полей, принося запах пыльцы и полыни. Где-то в небе жаворонок пел свою бесконечную песню. И на секунду Николаю показалось, что он снова молод, свободен и не знает, что такое предательство.

Только на секунду.

Вернувшись в райком, Николай застал в своём кабинете неожиданного гостя. За столом, закинув ногу на ногу, сидел Фриц Фогель. Он был в лёгком костюме, без пиджака, с расстёгнутым воротом рубашки. На столе перед ним стояла бутылка нарзана и два стакана.

— Здравствуй, Николай, — сказал он, улыбаясь. — Я вернулся раньше.

— Здравствуйте, Фриц Карлович, — Николай закрыл дверь. — Я думал, вы в Краснодаре.

— Был. Быстро управился. — Фриц разлил нарзан по стаканам. — Присаживайся. Есть разговор.

Николай сел напротив, взял стакан, но пить не стал.

— Какой разговор?

Фриц посмотрел на него внимательно, по-отечески. За два года он изменился — поседел, похудел, под глазами залегли тени. Но взгляд оставался прежним — цепким, изучающим, как у охотника, который выслеживает добычу.

— Ты знаешь, что в Москве готовятся чистки? — спросил он.

— Слышал, — ответил Николай. — Убирают троцкистов, зиновьевцев, всякую сволочь.

— Не только их, — Фриц отпил нарзан. — Чистки затронут всех. В том числе и нас с тобой.

— Нас? — Николай напрягся. — При чём здесь мы?

— При том, Николай, что я — иностранец. А ты — тот, кто со мной общается. Уже этого достаточно, чтобы попасть в список подозрительных.

— Я общаюсь с вами по работе, — возразил Николай. — Вы консультируете колхозы. Это официально.

— Официально — да, — кивнул Фриц. — Но есть ещё кое-что неофициальное. Наши встречи. Наши разговоры.

То, что ты мне передаёшь.

Николай побледнел.

— Вы меня предупреждаете?

— Предупреждаю, — сказал Фриц. — Чистки начнутся в следующем году. Может, раньше. Я уезжаю. В Германию. Там у меня дела.

— А я?

— А ты остаёшься. И должен быть готов. Если тебя вызовут на допрос — молчи. Ничего не говори. Не подписывай. Терпи. Мы тебя вытащим.

— Как вы меня вытащите? — спросил Николай с горечью.

— Вы же в Германии.

— У нас есть люди, — ответил Фриц. — В Москве, в НКВД, в партии. Ты не один, Николай. Запомни это. Ты никогда не один.

Николай молчал. Он смотрел на свои руки — мозолистые, с обломанными ногтями, руки рабочего, которые теперь подписывали бумаги и жали руки начальникам.

— Я боюсь, — сказал он наконец.

— Бояться надо не чистки, — ответил Фриц. — Бояться надо того, что после чистки останешься один. А ты не останешься. Мы позаботимся.

Он встал, надел пиджак, висевший на спинке стула.

— Я уезжаю завтра утром. Встретимся через полгода. Береги себя, Николай.

— Берегите себя, Фриц Карлович, — сказал Николай.

Они пожали руки. Фриц вышел. Николай остался один. Он допил нарзан — холодный, с газом, который щипал горло. Потом подошёл к окну.

На улице было лето. Пыль, солнце, женщины в ситцевых платьях. И где-то там, за горизонтом, начиналась степь — бескрайняя, золотая, свободная. Степь, которую он когда-то любил. Степь, которую теперь предавал.

Он закрыл глаза и прошептал:

— Прости меня, степь.

Чистки, о которых говорил Фриц, начались не в следующем году, а уже через три месяца. Первого сентября 1935 года в «Правде» появилась статья «Уроки злодейского убийства товарища Кирова», хотя Кирова убили ещё в декабре 1934-го. Но именно осенью 35-го волна арестов докатилась до Кубани.

Николай наблюдал за этим из окна своего кабинета. Каждый день мимо райкома проезжали чёрные воронки — «чёрные вороны», как их называли в народе. Каждую ночь кого-то забирали. Сначала — бывших кулаков, потом — «социально чуждых элементов», потом — просто тех, кто кому-то перешёл дорогу.

Он боялся. Каждый звонок телефона заставлял его вздрагивать. Каждый стук в дверь — холодеть. Ночи он почти не спал — лежал рядом с Марией, слушал её дыхание и думал: «Сегодня? Завтра?»

Мария родила второго сына в апреле — здорового, креп-

кого, назвали Петром. Теперь у Николая было двое детей — двухлетний Владимир и новорождённый Пётр. Ради них он работал. Ради них предавал. Ради них боялся.

Однажды, в конце октября, в райком приехала комиссия из края. Проверка. Три человека в чёрных кожанках — двое мужчин и одна женщина, сухая, с острыми глазами. Они ходили по кабинетам, проверяли документы, вызывали сотрудников «на беседу».

Николая вызвали третьим. Он вошёл в кабинет первого секретаря — Громова, которого тоже проверяли, но тот сидел в углу бледный и молчаливый. За столом — глава комиссии, мужчина с густыми бровями и тяжёлым подбородком.

— Товарищ Бережной, — сказал он, не предлагая сесть. — Расскажите о своей работе.

Николай начал рассказывать. О колхозах, о планах, о комбайнах. Говорил ровно, спокойно, без запинки. Чекист слушал, потом спросил:

— А как вы общаетесь с иностранцами?

— Только по работе, — ответил Николай. — Немецкий инженер Фогель консультирует наши колхозы по американской технике. Я с ним встречался несколько раз.

— Несколько раз? — переспросил чекист. — А говорят, что чаще.

— Кто говорит? — Николай почувствовал, как внутри всё сжимается.

— Говорят, — повторил чекист. — Знаете такую поговор-

ку: «Нет дыма без огня»?

— Знаю, — сказал Николай. — Но у нас с Фогелем только деловые отношения. Я готов подтвердить документами.

Он достал из портфеля папку — заранее подготовленную — с актами приёмки комбайнов, с отчётами о консультациях, с приказами о командировках. Чекист полистал, кивнул.

— Ладно. Можете идти.

Николай вышел. В коридоре он прислонился к стене и выдохнул. Пронесло. Но он знал — это только первый раз. Таких проверок будет много. И когда-нибудь он может не пройти.

В ноябре Фриц уехал. В Германию. Через Польшу, с оказией, по поддельным документам. Перед отъездом они встретились в последний раз — на старом кладбище за городом, где не было живых, только могилы и ветер.

— Я вернусь, — сказал Фриц. — Через год. Может, через два. А пока ты будешь работать с новым связным. Его позывной — «Джон». Он приедет под видом журналиста. Из «Дейли Уоркер». Американской газеты.

— Коммунистической? — спросил Николай.

— Да. Это удобно. Коммунист, значит, свой. — Фриц усмехнулся. — Никто не заподозрит.

— А вы? — спросил Николай. — Вы-то кто на самом деле?

Фриц посмотрел на него долгим взглядом.

— Я человек, который хочет, чтобы мир стал лучше. Ка-

ким способом — не важно. Ты меня понял?

Николай кивнул. Он понял. Он давно понял, что Фриц — не просто инженер. И не просто коммунист. Он — агент. Как и сам Николай. Но чей — американский? Немецкий? Свой? Это уже не имело значения.

Они попрощались. Фриц ушёл в туман, а Николай долго стоял у могилы какого-то купца девятнадцатого века, глядя на покосившийся крест, и думал о том, что теперь он остался один. Совсем один. Без куратора, без поддержки, только с радиоприёмником и цифрами, которые ему предстояло слушать.

Ночью он включил приёмник. Поймал волну — ту самую, которую указал Фриц. Шипение. Треск. Потом — голос. Женский. Спокойный. На этот раз — по-русски. Голос читал цифры — ровно, без интонаций, как автомат.

«Пять — два — один — ноль — три. Восемь — четыре — ноль — один — два. Девять — три — один — ноль — пять. Семь — один — два — ноль — четыре. Конец».

Николай записал пять групп: 52103 84012 93105 71204. Выключил приёмник, достал из-под половицы книгу — первый том «Капитала» Карла Маркса, издание на немецком, которое Фриц дал ему для «изучения экономики». На самом деле это был шифровальный ключ. Каждая группа из пяти цифр означала координаты в книге: первые две цифры — страница, третья — строка, четвёртая — номер слова в строке (0 — десятое слово), пятая — номер буквы в слове (0 —

пробел). Он открыл том, нашёл страницу 52, строку 1, слово 3, букву 0 — пробел. Затем страницу 84, строку 0 (десятую), слово 1, букву 2 — «о». Страницу 93, строку 1, слово 0 (десятое), букву 5 — «п». Страницу 71, строку 2, слово 0 (десятое), букву 4 — «е». Сложил: пробел о п е. Потом сообразил, что порядок другой. Переставив, получил «Связной Джон. Декабрь». Он выдохнул, сжёг листок.

Николай записал цифры — те, что продиктовали после — в маленький блокнот, который потом спрятал под половицей. Потом выключил приёмник и долго сидел в темноте.

За окном шумел ветер. Степной ветер, который пах полынью и свободой. Свободой, которой у Николая больше не было.

Он лёг рядом с Марией. Она спала, прижимая к себе Петра. Владимир возился в своей кроватке — маленькой, деревянной, сбитой из старых досок. Николай смотрел на сыновей и думал: «Ради вас. Всё ради вас».

И верил в это.

Потому что без этой веры нельзя было жить.

Декабрь принёс морозы и первого связного. «Джон» оказался молодым американцем лет двадцати пяти, с рыжими волосами и веснушчатым лицом. Он действительно приехал как корреспондент «Дейли Уоркер» — брал интервью у передовиков производства, писал о успехах колхозов, восхищался советской властью.

Встретились они в Краснодаре, в гостинице «Центральная», в номере, который «Джон» снял на сутки. В номере было душно — топили печку, и воздух казался спрессованным.

— Фриц рассказал о вас, — сказал «Джон», разливая чай.

— Он высокого мнения.

— А вы кто? — спросил Николай. — Тоже инженер?

— Журналист, — улыбнулся «Джон». — Но это не важно. Важно, что я ваш новый контакт. Передавать будете через почтовые ящики. Адреса я дам.

— А если меня арестуют?

— Тогда вы нас не знаете, — спокойно ответил «Джон». — Правила те же, что и с Фрицем. Никаких имён. Никаких документов. Только устные сообщения и почта.

Николай кивнул. Он знал правила.

— Какое первое задание? — спросил он.

— Список недовольных в районе. Тех, кто критикует власть. Тех, кого можно использовать в будущем.

— Использовать для чего?

— Для перемен, — сказал «Джон». — Для перемен, Николай. Мир не стоит на месте. И Советский Союз тоже изменится. А мы поможем ему измениться в правильную сторону.

Николай взял чашку, отпил. Чай был горячим, крепким, с сахаром — «Джон» не жалел сахара.

— Я сделаю, — сказал он.

— Умница, — «Джон» похлопал его по плечу. — Мы не забудем вашей помощи.

Всю обратную дорогу в Краснодар Николай думал о том, что сказал «Джон». «Перемены». Какие перемены? Они хотят свергнуть советскую власть? Или просто изменить её изнутри? И какая разница — если он, Николай Бережной, помогает врагам?

Он вспомнил отца, который сидел в лагере за то, что «криковал колхозы». Он вспомнил мать, умершую от голода. Он вспомнил брата, расстрелянного в тридцатом. И подумал: «А кто мои враги? Те, кто уничтожил мою семью? Или те, кто хочет уничтожить мою страну?»

Он не знал ответа. И знал, что никогда не узнает.

Вечером, дома, Мария спросила:

— Ты какой-то грустный. Что случилось?

— Ничего, — ответил он. — Работа.

— Работа, — повторила она. — Всё работа. Ты забыл, что такое семья?

— Не забыл, — сказал он, обнимая её. — Я всё делаю ради семьи.

Она посмотрела на него — долго, пристально, как будто видела насквозь.

— Я знаю, — сказала она. — Но будь осторожен. Ради детей.

Он поцеловал её и пошёл кормить Петра.

А ночью, когда все уснули, он опять включил приёмник.

И слушал белый шум.

Слушал и ждал.

Ждал следующего задания.

Следующего предательства.

Следующего шага по лестнице, которая вела вверх — к власти, к деньгам, к безопасности. И вниз — в ад, из которого нет выхода.

На следующий день Николай пришёл в райком с новым списком. Сто три фамилии. Сто три человека, которые сказали лишнее слово. Сто три потенциальных врага. Сто три судьбы, которые он отдал «Джону».

Он положил список в конверт, заклеил, опустил в почтовый ящик на углу Красной и Октябрьской. И пошёл на работу, делая вид, что ничего не случилось.

В кабинете его ждала телеграмма из края: «Тов. Бережного утвердить первым секретарём райкома».

Он прочитал три раза. Первый секретарь. Глава района. Человек, от которого зависят тысячи судеб.

Он сел в кресло, положил ноги на стол — не из нахальства, а от усталости — и закрыл глаза.

«Вот она, цена предательства, — подумал он. — Власть. И страх. И белый шум, который никогда не смолкает».

Он открыл глаза, посмотрел на портрет Сталина, висевший на стене, и сказал вслух:

— Я тебя переиграю. Или ты меня. Но игра только начинается.

Вождь молчал. Только улыбался — тонко, загадочно, как будто знал то, чего не знал Николай.

А за окном шумела степь. Бескрайняя, золотая, свободная. Степь, которую он предал. И которую любил больше жизни.

— *Конец восьмой главы* —

Глава 9. Свердловск, 1936.

Кукушка выходит замуж

Весна 1936 года на Урале выдалась ранней и шумной. Снег сошёл ещё в марте, обнажив чёрную, мокрую землю, по которой тут же побежали ручьи — весёлые, звонкие, как будто радовавшиеся свободе. На деревьях набухли почки, и воздух наполнился запахом прели и молодой зелени — тем особенным запахом, который бывает только в апреле, когда зима окончательно сдаёт позиции и природа делает свой первый, робкий вдох после долгого сна.

Зинаида стояла у окна своей комнаты в коммуналке и смотрела на двор. Там, под старой берёзой, дворовые мальчишки играли в лапту — бегали, кричали, смеялись. Обычные дети, обычная игра, обычная жизнь. Та, которой у неё не было. И никогда не будет.

Она провела рукой по стеклу — холодному, ещё не прогретом весенним солнцем. На подоконнике стояла банка с букетом вербы — пушистой, серебристой, которую она сорвала вчера на окраине города. Верб пахла горьковато и свежо, напоминая о детстве, о доме, о матери, которая каждую Пасху ставила такие же веточки в красный угол.

Мать умерла пять лет назад. От тифа. В лазарете, где не хватало лекарств и врачей. Зинаида не успела попрощаться — её не пустили, боялись заразы. Она помнила только за-

писку, переданную через санитарку: «Зина, молись за меня. Я тебя люблю». Зинаида не молилась. Она разучилась молиться. Но иногда, по ночам, когда никто не видел, она крестилась на икону, оставшуюся от бабушки. И просила прощения. За что — сама не знала.

— Зинаида! — крикнули из коридора. — К тебе пришли!

Она вздрогнула, поправила платье — простое, ситцевое, с белым воротничком — и вышла.

В коридоре стоял Дмитрий Козырев. Майор государственной безопасности, тридцать восемь лет, высокий, широкоплечий, с тёмными, чуть тронутыми сединой волосами и лицом, которое могло быть красивым, если бы не шрам над левой бровью — след от финки в гражданскую. Он был в новой гимнастёрке, при ордене Красной Звезды, и пахло от него одеколоном «Шипр» — дорогим, французским, каким в Свердловске ни у кого не было.

— Здравствуй, Зина, — сказал он, улыбаясь. — Готова?

— Здравствуй, Дмитрий, — ответила она. — Куда мы идём?

— В ЗАГС, — сказал он. — Сегодня наша свадьба. Забыла?

Она не забыла. Она старалась не думать об этом, но не забыла.

Они познакомились три месяца назад, на партийном собрании, где обсуждали «чистку рядов». Дмитрий выступал с докладом о «выкорчёвывании врагов народа». Говорил жёст-

ко, убеждённо, с металлом в голосе. Зинаида сидела в первом ряду и машинально записывала его речь — для отчёта. После собрания он подошёл к ней, представился, пригласил на ужин в ресторан «Урал».

Она согласилась. Не потому, что хотела — потому что майор госбезопасности не принимает отказов. Особенно от секретарши обкома, которая перепечатывает секретные документы.

Ужин был скромным — по тем временам роскошным: суп-пюре, отбивная, компот. Дмитрий рассказывал о службе, о борьбе с «контрой», о том, как он лично арестовывал «врагов народа». Глаза его горели фанатичным огнём. Зинаида слушала и кивала, а внутри всё холодело. Она знала, что этот человек — её билет наверх. И её тюрьма.

Через месяц он сделал предложение. Стоя на колене, с кольцом — золотым, с маленьким рубином. Зинаида сказала «да». Потому что так велел Джеймс. «Выходи за него, — сказал он в последнюю встречу. — Он будет нашим человеком в НКВД. Через него мы получим доступ к самым секретным документам».

Она выходила замуж не за Дмитрия. Она выходила замуж за его должность. За его сейф. За его связи.

И сейчас, стоя в коридоре коммуналки, глядя на его счастливое лицо, она чувствовала только пустоту.

— Я готова, — сказала она, надевая пальто. — Пойдём.
ЗАГС находился на Ленина, в бывшем купеческом особ-

няке, перестроенном под «дворец бракосочетаний». Внутри пахло хлоркой и цветами — живыми, настоящими, привезёнными из оранжереи специально для партийных свадеб.

Свидетелей было двое — от Дмитрия его сослуживец, капитан с такой же каменной физиономией, и от Зинаиды — её подруга Клава, тоже секретарша, но из другого отдела. Клава была в новом платье, покрашена, волновалась больше, чем сама Зинаида.

— Ну ты, Зинка, даёшь, — шепнула она, когда они остались одни. — За майора замуж! Теперь ты дама!

— Дама, — повторила Зинаида без выражения.

— А чего ты такая грустная? Свадьба же!

— Грустная? — Зинаида заставила себя улыбнуться. — Нет, я счастлива.

Она не врала. Она была счастлива — счастьем предателя, который знает, что делает правильный шаг. Не для себя — для Джеймса. Для операции. Для белого шума.

Церемония была короткой — расписались, обменялись кольцами, поставили подписи в книге. Дмитрий поцеловал её — крепко, по-хозяйски, как будто ставил клеймо.

— Теперь ты моя, — сказал он, глядя в глаза.

— Твоя, — ответила она.

Потом был ужин — в том же ресторане «Урал», с шампанским, с тостами, с речами. Сослуживец Дмитрия говорил о «боевом товарище», о «верном страже революции», о том, что «такая жена, как Зинаида, — надёжный тыл». Клава пла-

кала от умиления.

Зинаида сидела во главе стола, улыбалась, кивала, пила шампанское, которое казалось ей горьким. И думала о том, что этой ночью она ляжет в постель с человеком, которого должна будет предать. И что он никогда не узнает об этом. Или узнает — и тогда убьёт её.

— Тост за молодых! — крикнул кто-то.

— Горько! — заорали все.

Дмитрий поцеловал её. В губы. Долго. Она не сопротивлялась.

Их квартира находилась в центре города, в бывшем доме партийной номенклатуры — высокие потолки, лепнина, паркет. Дмитрию выделили её за выслугу лет — три комнаты, кухня, ванная. Для Свердловска тех лет это была роскошь, доступная только избранным.

Зинаида вошла впервые. Прошла по комнатам, трогая стены, подоконники, дверные ручки. Всё было новым, чистым, пахло краской и деревом. В спальне стояла огромная кровать — с никелированными шариками на спинке, с пуховыми подушками, с шёлковым покрывалом.

— Нравится? — спросил Дмитрий, стоя в дверях.

— Да, — ответила она. — Очень.

— Это теперь наш дом, — сказал он, подходя к ней. — Наш. Твой и мой.

Он обнял её. Она прижалась к нему — не потому, что хотела, а потому, что так надо было.

— Дмитрий, — сказала она тихо. — Я хочу, чтобы ты знал: я буду тебе верной женой.

— Я знаю, — ответил он. — Я проверял.

Она похолодела.

— Проверял?

— Проверял, — повторил он, не разжимая объятий. — Твоё прошлое, твои связи, твои разговоры. Я же чекист, Зина. Я не мог жениться на женщине, которой не доверяю.

— И что ты узнал? — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Что ты — хорошая, — улыбнулся он. — Верная. Преданная партии. И мне.

Он поцеловал её в лоб.

— Всё, хватит разговоров. Сегодня наша ночь.

Он повёл её в спальню.

Ночью, когда Дмитрий уснул, Зинаида лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. Тело болело — он был грубым, нетерпеливым, как и Смирнов. Но она терпела. Она привыкла терпеть.

Мысли метались: «Он проверял меня. Он знает про моё прошлое. Но он не знает про Джеймса. Иначе я была бы уже в подвале. Значит, моя легенда чиста. Значит, можно работать дальше.»

Она повернулась на бок, посмотрела на Дмитрия. Во сне он выглядел моложе, спокойнее, почти беззащитным. Шрам над бровью белел в темноте. Она протянула руку, хотела по-

гладить его по щеке, но отдёргнула.

Нельзя. Нельзя привязываться. Он — враг. Или не враг? Она уже не понимала.

Она закрыла глаза и попыталась заснуть. В ушах звучал белый шум — тот самый, из приёмника. Шипение, треск, голос. Цифры, которые никто, кроме неё, не слышал.

Она заснула под этот шум. И во сне ей приснилась степь. Бескрайняя, золотая, свободная. По которой она бежала бо-сиком, как в детстве. И догоняла бабушку — ту, которая на-учила её молиться. Но бабушка уходила всё дальше, раство-рялась в воздухе, оставляя после себя только запах вербы и полыни.

Зинаида проснулась в слезах.

Утром Дмитрий ушёл на работу рано — в шесть, затемно. Поцеловал её в щёку, сказал: «Жди, к вечеру вернусь». Зи-наида кивнула, дождалась, пока хлопнет дверь, и сразу вста-ла.

Она подошла к окну. За окном был Свердловск — серый, просыпающийся, с дымом из труб и редкими прохожими. Где-то там, на окраине, стоял её старый барак, её прошлая жизнь. А здесь, в этой трёхкомнатной квартире, начиналась новая. Ложь. Предательство. И белый шум.

Она достала из-под половицы — в спальне, под кроватью, была тайная щель — маленький плоский радиоприёмник, тот самый, который передал ей Джеймс. Включила. Наушни-ки — чтобы не услышал кто из соседей.

Шипение. Треск. Потом — голос. Женский. Спокойный. На этот раз — на русском, с лёгким иностранным акцентом.

Зинаида включила приёмник. Шипение. Треск. Потом — голос. Женский. Спокойный. На этот раз — на русском, с лёгким иностранным акцентом. Голос читал цифры:

«Четыре — один — два — ноль — три. Пять — два — ноль — один — семь. Три — один — ноль — четыре — два. Шесть — ноль — три — один — пять. Семь — два — четыре — ноль — один. Девять — один — три — ноль — два. Конец».

Она записала группы: 41203 52017 31042 60315 72401 91302. Достала с полки роман Чернышевского «Что делать?» — подарок мужа, но на самом деле шифровальный ключ. Она знала: первые две цифры — страница, третья — строка, четвёртая — слово, пятая — буква. Перелистывая книгу, она получила: «Скопируй личные дела сотрудников НКВД. Срок две недели». Она сожгла лист с цифрами.

Зинаида выключила приёмник, спрятала обратно. Села на кровать, обхватив колени руками.

Личные дела. В сейфе Дмитрия. К которому у неё не было ключа.

«Но будет, — подумала она. — Будет. Я сделаю так, чтобы был».

Она встала, умылась, оделась. Привела себя в порядок — причесалась, накрасила губы — тем помадой, которую пода-

рил Дмитрий. Посмотрела в зеркало. На неё смотрела чужая женщина — красивая, спокойная, с пустыми глазами.

— Здравствуй, Кукушка, — сказала она своему отражению. — Начинаем новую жизнь.

Первые дни после свадьбы Зинаида изучала мужа. Его привычки, его распорядок, его слабости. Он вставал рано, ложился поздно. Пил чай без сахара, но любил варенье — малиновое, из банки, которую привозила его мать из деревни. Курил папиросы «Беломорканал» — по пачке в день. Читал на ночь газеты — «Правду», «Известия», «Уральский рабочий». И никогда — книги. Он не любил читать книги. Говорил: «Зачем? Жизнь интереснее любого романа».

Ключи от сейфа носил с собой — на связке, вместе с ключами от квартиры и от машины. Сейф стоял в кабинете — маленькой комнате, которую он запирает на отдельный замок, когда уходил. Зинаида не имела туда доступа.

Но у неё было терпение. Джеймс учил: «Жди. Не торопись. Враг сам откроет дверь».

Она ждала.

Через неделю, в субботу, Дмитрий пришёл домой пьяным. Не сильно — так, чуть навеселе. Отмечали день рождения сослуживца. Он был весел, разговорчив, обнимал её, говорил: «Зина, ты у меня самая лучшая. Я тебя никому не отдам».

Она уложила его спать. Он разделся сам — кое-как, бросил гимнастёрку на стул, брюки на пол. Связка ключей упала

на ковёр. Зинаида подняла, положила на тумбочку.

Дмитрий захрапел.

Она взяла ключи, вышла в коридор. Отперла кабинет. Вошла. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, его слышно на весь дом.

Сейф стоял в углу, за письменным столом. Маленький, серый, с блестящей ручкой. Зинаида перебрала ключи — третий подошёл. Замок щёлкнул. Она открыла дверцу.

Внутри были папки. С грифом «Секретно». С грифом «Особой важности». Она взяла ту, что лежала сверху — «Личные дела сотрудников НКВД СО». Открыла.

Фамилии. Имена. Даты рождения. Партийность. Семейное положение. Агентурные псевдонимы. Список тех, кто работает с «иностранными специалистами».

Она вынула лист, сложила, спрятала в карман юбки. Закрыла сейф, заперла. Выходя из кабинета, вытерла ручку — отпечатков не оставить. Вернулась в спальню, положила ключи на место. Легла рядом с Дмитрием. Он не проснулся.

Утром, когда он ушёл на работу, она переписала список в блокнот — мелким почерком, сокращая слова, чтобы уместить больше. Потом перепрятала блокнот в тайник — теперь новый, под плинтусом в кухне. Оригинал сожгла в печке, глядя, как бумага корчится в огне.

Пепел выбросила в унитаз. Смыла.

Всё.

Через два дня, на встрече в парке — новое место, новая

явка — она передала список Джеймсу.

— Отлично, Зинаида, — сказал он, пряча бумагу во внутренний карман. — Быстро работаете.

— У меня хороший муж, — ответила она.

— Это мы знаем, — улыбнулся Джеймс. — Поэтому и выбрали вас. Он — наш ключ к НКВД.

— Он — мой муж, — сказала Зинаида. — Я не хочу, чтобы ему навредили.

— Не навредим, — пообещал Джеймс. — Пока он нужен нам живым и здоровым.

— А потом?

Джеймс посмотрел на неё внимательно.

— А потом, Зинаида, будет потом. Сейчас не время загадывать.

Он ушёл. Она осталась стоять у фонтана — того самого, где они встречались раньше, когда она ещё была просто секретаршей. Теперь она была женой майора госбезопасности. И агентом ЦРУ. И женщиной, которая не знала, кто она на самом деле.

Дома Дмитрий ждал её с новостью.

— Зина, — сказал он, сияя. — Меня повышают. Начальник отдела. С первого мая.

— Поздравляю, — сказала она, целуя его.

— Теперь у нас будет ещё больше возможностей, — сказал он. — Дача, машина, путевки в Сочи. Всё, что захочешь.

— Я хочу только одного, — сказала она. — Чтобы ты был

счастлив.

Он обнял её. Она уткнулась лицом в его плечо и закрыла глаза. Пахло от него табаком и одеколоном «Шипр». И ещё чем-то — тем, что она не могла определить. Может быть, опасностью. Может быть, смертью. Может быть, любовью.

Она не знала. И не хотела знать.

Ночью, когда Дмитрий уснул, она опять включила приёмник. Слушала белый шум. Слушала цифры. И думала о том, что её жизнь — это не жизнь. Это операция. И она — не Зинаида. Она — Кукушка. Птица, которая подкидывает свои яйца в чужие гнёзда.

Она выключила приёмник, спрятала. Легла рядом с мужем, прижалась к его спине.

Он был тёплым. Живым. Настоящим.

А она — нет.

Она была только тенью.

Тенью, которая умела слушать белый шум.

— *Конец девятой главы* —

Глава 10. 1937. Чистка

Октябрь 1937 года выдался в Москве тревожным и сырым. Листья с деревьев облетели ещё в сентябре, и теперь голые ветви тянулись к небу, как руки утопающих. Дожди шли каждый день — мелкие, нудные, пронизывающие до костей. Люди ходили сгорбленные, кутались в пальто, старались не смотреть друг другу в глаза. Потому что в глазах соседа можно было увидеть страх. А страх заразен.

Иван Каганович сидел в своём кабинете в Наркомате тяжёлой промышленности и перебирал бумаги. Руки дрожали — не от холода, от нервов. Вчера забрали его соседа по коммуналке — старого инженера, который работал в том же отделе, что и Иван. Забрали ночью. Иван слышал шаги в коридоре, стук в дверь, крик: «Откройте! По приказу НКВД!» Потом — топот сапог, всхлипы, хлопок двери. Утром комната соседа была пуста. Только кровать не застелена да на столе — недопитый чай.

Иван знал, что следующий может быть он. Знал по взглядам сотрудников, которые стали избегать его. По тому, как начальник отдела — новый, присланный из Москвы — смотрел на него с подозрением. По слухам, которые ползли по коридорам: «Кагановича проверяют», «У него брат — враг народа», «Отец в лагере».

Отец действительно сидел в лагере. Брат — тоже. И это

было официально — «члены семьи изменника Родины». Но пока Ивана не трогали. Может, потому что он работал хорошо. Может, потому что дальний родственник Лазаря Кагановича — тот всё-таки замолвил слово? Или потому, что американцы — через Стива — запустили какой-то механизм, который пока защищал его?

Иван не знал. И боялся спрашивать.

В дверь постучали — три коротких удара. Иван вздрогнул.

— Войдите.

Вошел курьер — молодой парень в синей гимнастёрке, с конвертом в руке.

— Вам, товарищ Каганович, — сказал он, протягивая конверт. — Из особого отдела.

Иван взял конверт. Руки не дрожали — он заставил их не дрожать.

Курьер вышел. Иван вскрыл конверт. Внутри — листок бумаги с одним словом: «Явка».

Ничего больше. Ни адреса, ни времени, ни подписи. Но Иван знал, что это значит. Сегодня, в семь вечера, на обычном месте — сквер у Большого театра, третья скамейка от фонтана.

Он сжал листок, разорвал, бросил в пепельницу. Поджёг. Смотрел, как бумага корчится в огне, превращаясь в чёрный пепел.

«Сегодня», — подумал он. — «Может, в последний раз».

В семь вечера сквер у Большого театра был пуст. Дождь моросил, фонари горели тускло, бросая мутные пятна света на мокрый асфальт. Иван сидел на третьей скамейке от фонтана, засунув руки в карманы пальто, и ждал.

Он пришёл затемно, чтобы никто не видел. Но в Москве 1937 года затемно ходить было опасно — патрули, проверки документов, случайные вопросы. Он рисковал. Но риск был оправдан — Стив не вызывал просто так.

Через десять минут из темноты вынырнула фигура. Высокая, худая, в длинном плаще. Стив.

Он сел рядом, не здороваясь.

— Иван, — сказал он тихо. — У вас проблемы.

— Знаю, — ответил Иван. — Меня могут арестовать.

— Не могут. Арестуют. Вопрос дней.

Иван похолодел.

— Откуда вы знаете?

— У нас есть источники, — Стив закурил, спрятав папиросу в рукав, чтобы не видно было огонька. — Ваше имя в списке. На послезавтра. Особый отдел уже подготовил ордер.

— За что? — спросил Иван. — Я ничего не сделал.

— Вы — родственник врагов народа, — усмехнулся Стив. — Этого достаточно. И ещё — вы общались с иностранцами. С американцами. С немцами. Вас видели.

— Но вы же сами...

— Я знаю, — перебил Стив. — Мы знаем. Поэтому мы вас и вытащим.

— Вытащите? — Иван не верил своим ушам. — Как?

— У нас есть люди в НКВД. Не много, но есть. Мы запустим дезинформацию, что вы — наш ценный агент, которого нельзя арестовывать, а нужно продвигать. Что вы работаете на нас, а значит, можете работать и на них. Двойной агент.

— Двойной агент? — Иван усмехнулся. — Я и так двойной.

— Теперь будете тройным, — Стив потушил папиросу, спрятал окурки. — Главное — не паникуйте. Когда придут — не сопротивляйтесь. Не подписывайте ничего. Молчите. Мы вас вытащим через три дня.

— А если не вытащите?

— Тогда вы нас не знаете, — спокойно ответил Стив. — Вы сами понимаете.

Он встал.

— Ждите. Мы на связи.

И ушёл в темноту.

Иван остался один. Дождь усиливался, барабанил по скамейке, по лицу, по рукам. Он сидел и смотрел на памятник Карлу Марксу, который маячил в темноте, как призрак.

«Двойной агент, — подумал он. — Тройной. Какая разница, если меня расстреляют?»

Он встал и пошёл домой. Мокрый, продрогший, пустой.

На следующий день Иван работал как обычно. Подписывал бумаги, отвечал на звонки, ходил на совещания. Делал вид, что ничего не случилось. Но внутри всё кипело.

Он смотрел на портрет Сталина в своём кабинете и думал: «Ты убил моего отца. Ты убил моего брата. Ты убьёшь и меня, если я не буду осторожен». Но вслух, конечно, ничего не говорил.

Вечером, когда он вернулся домой, Настя встретила его испуганным взглядом.

— Иван, — сказала она. — Сегодня приходили. Из НКВД. Спрашивали о тебе.

— Что спрашивали?

— Где ты работаешь, с кем встречаешься, какие разговоры ведёшь. Я сказала — ничего не знаю.

— Молодец, — Иван обнял её. — Всё будет хорошо.

Она посмотрела на него — долго, пристально.

— Ты мне врёшь, Иван. Я знаю. Но я не хочу знать правду. Только обещай — ты вернёшься.

— Обещаю, — сказал он.

Они легли спать. Саша — их сын — уже спал в своей кровати. Иван лежал с открытыми глазами и слушал, как дождь стучит по крыше.

«Завтра, — подумал он. — Завтра они придут».

Они пришли в три часа ночи.

Иван проснулся от громкого стука в дверь. Сначала ему показалось, что это сон. Потом — голоса: «Откройте! НКВД!»

Настя вскрикнула. Иван вскочил, натянул брюки, пошёл к двери. Сердце колотилось где-то в горле, но руки не дро-

жали.

Он открыл.

В коридоре стояли трое — двое в форме, один в штатском. У штатского было бледное лицо и маленькие, злые глаза.

— Иван Каганович? — спросил штатский.

— Да, — ответил Иван.

— Вы арестованы. По обвинению в шпионаже и измене Родине. Одевайтесь.

Настя закричала. Иван обернулся:

— Молчи! Сиди с Сашей!

Он оделся — медленно, аккуратно, как будто собирался на работу. Взял с тумбочки расчёску, причёсался. Чекист усмехнулся:

— Думаешь, в камере пригодится?

— Привычка, — ответил Иван.

Его обыскали — быстро, грубо. Вывернули карманы, забрали часы, портмоне, ключи. Спросили: «Оружие есть?» Иван: «Нет». «Наркотики?» «Нет».

— Пошли.

Он вышел в коридор. Настя стояла в дверях спальни, прижимая к груди плачущего Сашу. Глаза её были красными, но она не плакала.

— Я вернусь, — сказал Иван.

Она кивнула. Не поверила.

Машина — чёрный воронок — ждала у подъезда. Ивана затолкали внутрь, захлопнули дверцу. Внутри было темно,

пахло бензином, потом и чем-то кислым — страхом предыдущих пассажиров.

Машина поехала. Иван сидел, прижавшись спиной к холодной стенке, и пытался успокоить дыхание. «Молчи, — вспомнил он слова Стива. — Не подписывай ничего. Мы вытащим».

Но верилось с трудом.

Допрос начался через два часа. Ивана привезли в здание НКВД на Лубянке — большое, мрачное, с колоннами и тяжёлыми дверями. Внутри пахло хлоркой и махоркой. По коридорам ходили конвоиры с винтовками, слышались крики — откуда-то издалека, из подвалов.

Его завели в маленькую комнату без окон. Стол, два стула, лампа под зелёным абажуром. На столе — бумага, ручка, чернильница.

Сесть не предложили. Он стоял, прислонившись к стене, и ждал.

Через минуту вошёл следователь. Молодой, лет тридцати, с белыми, почти прозрачными руками и острым, птичьим лицом. На нём была форма капитана госбезопасности.

— Садитесь, — сказал он, указывая на стул.

Иван сел. Следователь сел напротив, открыл папку.

— Каганович Иван Александрович, 1904 года рождения, член ВКП (б) с 1928 года. — Он говорил монотонно, как читал приговор. — Обвиняетесь в шпионаже в пользу иностранных государств. Признаёте себя виновным?

— Нет, — сказал Иван.

— Не торопитесь, — следователь улыбнулся — тонко, безрадостно. — У нас есть доказательства. Ваши контакты с американскими и немецкими специалистами. Ваши неофициальные встречи. Ваша переписка. Всё зафиксировано.

— Я общался с иностранцами по работе, — ответил Иван.
— Это было в мои служебные обязанности.

— А по ночам? — следователь достал из папки лист бумаги. — Вот список. 15 марта 1934 года, сквер у Большого театра. 3 июня 1934 года, парк Горького. 12 сентября 1935 года, гостиница «Москва». С кем вы встречались?

Иван молчал. Сердце колотилось так, что, казалось, следователь слышит.

— Я спрашиваю, с кем вы встречались? — повторил следователь.

— Не помню, — ответил Иван.

— Не помните? — следователь встал, обошёл стол, навис над Иваном. — А может, вы встречались с иностранным шпионом? С агентом американской разведки?

— Я не знаю никаких шпионов, — сказал Иван.

Следователь ударил его по лицу. Не сильно — так, для остротки. Иван не шелохнулся.

— Упрямый, — сказал следователь. — Ничего, мы тебя разговорим.

Он вышел. Иван остался один.

Допросы продолжались три дня. Три дня голода, бессон-

ницы, вопросов и ударов. Иван не подписывал ничего. Не называл имён. Только повторял: «Я не виновен».

На третий день следователь пришёл злой, с красными глазами. Бросил на стол бумагу.

— Подписывай.

Иван прочитал. Это было признание в шпионаже. Длинное, подробное, с именами, явками, датами. Всё выдуманное. Всё ложное.

— Не подпишу, — сказал Иван.

Следователь занёс руку для удара, но в этот момент дверь открылась. Вошёл другой чекист — в полковничьей форме, с усталым лицом.

— Оставьте его, — сказал он следователю. — Приказ сверху. Переводится в другую тюрьму.

— Как?! — возмутился следователь. — Он же почти сознался!

— Сказано — перевести. Исполняйте.

Следователь выругался, вышел. Полковник посмотрел на Ивана.

— Вам повезло, гражданин. Кто-то замолвил за вас слово.

— Кто? — спросил Иван.

— Не ваше дело. Собирайтесь. Через час вы уезжаете.

Ивана перевели в другую тюрьму — на окраине Москвы, не такую страшную. Камера была общей — на десять человек, но хотя бы с окном и нарами.

Он лежал на нарах, смотрел в потолок и думал. Стив не

обманул. Его вытащили. Но как? Кто замолвил слово? Может, тот самый «дальний родственник» Лазарь Каганович? Или американцы через своих людей в НКВД?

Он не знал. И знать не хотел. Главное — он жив.

Через неделю его выпустили. «Дело прекращено за недостаточностью улик», — сказал следователь, протягивая справку. Иван взял, не глядя. Вышел на улицу.

Москва была серой, холодной, чужой. Дождь всё так же моросил. Но Иван вдыхал полной грудью — дым, бензин, сырость — и чувствовал, как внутри поднимается что-то новое.

Не страх.

Злость.

Он выжил. Он победил. И он отомстит. Тем, кто его посадил. Тем, кто хотел убить. Тем, кто сделал его предателем.

Он пошёл домой.

Дома его ждала Настя. Она бросилась на шею, плакала, целовала. Саша сидел на полу, играл с деревянной лошадкой — не узнал отца.

— Я вернулся, — сказал Иван, обнимая жену. — Всё кончено.

Она отстранилась, посмотрела в глаза.

— Нет, Иван. Только начинается.

Он кивнул. Она была права.

Ночью, когда все уснули, Иван достал приёмник. Включил. Нашёл волну.

Шипение. Треск. Потом — голос. Женский. Спокойный.

«Внимание. Корень. Поздравляем с освобождением. Продолжайте работу. Следующее задание — через месяц. Ждите сигнала».

Иван выключил приёмник. Спрятал. Лёг рядом с Настей. Закрыв глаза.

Белый шум всё ещё звучал в голове. Но теперь он не успокаивал — он звал. Звал в бой.

Иван был готов.

Через месяц его повысили — начальник отдела в другом наркомате, более высоком. Говорили, что лично Молотов подписал приказ. Иван не верил в случайности. Он знал: это работа Стива. Американцы выполняют свои обещания.

Теперь у него был новый кабинет, новая квартира, новый статус. И новые задания. Более сложные. Более опасные.

Он копировал планы военных заводов, списки мобилизационных резервов, данные о производстве танков. Передавал их через почтовые ящики, через связных, через тайники. И каждый раз чувствовал, как шрам на совести становится глубже.

Но он не останавливался. Потому что остановиться означало смерть.

Он шёл вперёд. В белую тьму. В белый шум.

— *Конец десятой главы* —

Глава 11. Айзенах, 1938.

Рождение Вагнера

Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года вошла в историю под именем, которое Эрих Шульц запомнил на всю жизнь, хотя тогда, в свои пятнадцать лет, он не знал этого слова. «Хрустальная ночь» — так назовут её потом, по звону разбитых витрин еврейских магазинов, усыпавших мостовые осколками, похожими на битое стекло. Но в ту ночь, когда он стоял у окна своей комнаты в Айзенахе и смотрел на зарево пожара над городом, ему не было дела до красивых названий. Он видел только огонь, слышал только крики и чувствовал только страх.

Айзенах — небольшой город в Тюрингии, у подножия замка Вартбург, где Лютер переводил Библию, а Вагнер писал оперы. Здесь всё дышало историей — старые фахверковые дома, мощёные улочки, шпили церквей. Но в ту ночь история превратилась в ад.

Эрих проснулся от шума. Сначала ему показалось, что это гром — ноябрьские грозы в Тюрингии случались редко, но бывали. Потом он понял: это не гром. Это крики. И треск. И топот множества ног.

Он подбежал к окну. Внизу, на улице, горела синагога. Пламя взметалось выше крыш, освещая багровым светом фигуры людей в коричневых рубашках — штурмовиков.

Они бегали по улице, били витрины, тащили из домов вещи, кричали что-то неразборчивое — пьяные, злые, торжествующие.

— Мама! — крикнул Эрих. — Мама, иди сюда!

В комнату вбежала фрау Шульц — невысокая, полная женщина с седеющими волосами, собранными в пучок. Она посмотрела в окно и перекрестилась — хотя они были коммунистами и в бога не верили.

— Господи Иисусе, — прошептала она. — Что они делают?

— Это евреев бьют, — сказал Эрих. Он уже знал — в школе рассказывали, что евреи — враги рейха, что их нужно изгнать. Но он не думал, что изгнание выглядит так. С огнём и кровью.

— Где отец? — спросил он.

— На собрании, — ответила мать. — В ячейке. Должен был вернуться к десяти.

Было два часа ночи.

Отец Эриха, Карл Шульц, был коммунистом. Настоящим, старым, ещё из времён Веймарской республики. Он работал механиком на заводе Wartburg, где собирали автомобили, и по ночам тайно печатал листовки с призывами к борьбе с нацистами. Эрих знал об этом — отец не скрывал. «Фюрер — дурак, — говорил Карл, когда они оставались одни. — Он ведёт Германию к пропасти. Наше дело — коммунизм — спасёт мир».

Эрих верил отцу. В свои пятнадцать он верил всему, что говорил отец. Потому что отец был самым умным человеком, которого он знал. Потому что отец никогда не врал. Потому что отец любил его.

Они жили бедно — Карл получал гроши, мать подрабатывала уборщицей, Эрих учился в школе и после уроков помогал на заводе — подносил инструменты, убирал стружку. Но им хватало. У них была комната в старом доме на окраине, кусок хлеба на ужин и надежда на лучшее будущее.

В 1933 году, когда Гитлер пришёл к власти, надежда начала таять. Карла уволили с завода за «политическую неблагонадёжность». Он устроился в частную мастерскую, чинил велосипеды и швейные машинки. Но продолжал ходить на подпольные собрания, продолжал печатать листовки, продолжал верить.

— Ничего, Эрих, — говорил он, глядя сына по голове. — Коммунизм победит. Мы построим новый мир — без Гитлера, без войны, без бедности.

Эрих кивал. Он хотел верить. Но в ноябре 1938 года вера давалась всё труднее.

Отца привели в пять утра.

Эрих не спал — стоял у окна и смотрел, как догорает синагога. Пламя уже не взлетало, только тлели угли, и дым тянулся к небу чёрным, жирным столбом.

Внизу хлопнула дверь. Послышались голоса — грубые, командные. Шаги на лестнице. Мать вскрикнула.

Эрих выбежал в коридор.

Там стояли двое — в форме СА, коричневые рубашки, свастики на повязках. Между ними — Карл Шульц. Отец был избит — лицо в крови, левый глаз заплыл, губа разбита. Руки связаны за спиной проволокой.

— Карл! — закричала мать. — Что вы с ним сделали?

— Коммунист, — сказал один из штурмовиков, ухмыляясь. — Вредитель. Будет сидеть в Бухенвальде. А вы, фрау, радуйтесь, что мы не забрали вас.

Они толкнули Карла. Он споткнулся, упал на колени. Эрих рванулся к отцу, но второй штурмовик отшвырнул его.

— Не лезь, сопляк. А то тоже заберём.

Эрих поднялся с пола, вытер разбитую губу. Смотрел на отца.

— Папа...

— Всё хорошо, Эрих, — сказал Карл. Голос его был слабым, но глаза — ясными. — Всё будет хорошо. Держись. Помогай матери.

— Молчать! — рявкнул штурмовик, ударив Карла по голове.

Они подняли его, поволокли вниз. Эрих и мать побежали за ними, но у двери их остановил третий — тот, что стоял в машине.

— Сидите дома, — сказал он. — Не высовывайтесь. И запомните: вашего мужа больше нет. Он — враг народа.

Машина уехала. Мать упала на колени прямо в грязь и за-

выла — страшно, по-звериному, как воют волчицы, потерявшие детёнышей. Эрих стоял рядом, смотрел на удаляющиеся красные фонари и чувствовал, как внутри поднимается что-то тяжёлое, чёрное.

Ненависть.

Он ненавидел их всех — штурмовиков, Гитлера, нацистов, весь этот мир, который отнимал у него отца. И в тот момент он поклялся: он отомстит. Он уничтожит их всех. Любым способом.

Он не знал, что эта клятва приведёт его совсем не туда, куда он хотел.

Утром пришёл сосед — мистер Говард, американец, который жил этажом выше. Он работал на заводе Wartburg — инженером-консультантом, приехал из Детройта два года назад. Был он высоким, седым, с усами, всегда аккуратно одетым и вежливым. Эрих его побаивался — сосед говорил по-немецки с ужасным акцентом и часто жестикулировал.

— Фрау Шульц, — сказал он, войдя без стука. — Я слышал, что случилось. Мне очень жаль.

— Что нам теперь делать? — спросила мать, вытирая слёзы.

— Я помогу, — сказал Говард. — Чем смогу. Вот, возьмите.

Он протянул конверт — толстый, с деньгами. Мать отказалась было, но Говард настоял.

— Не отказывайтесь. Ваш муж — хороший человек. А хо-

рошим людям нужно помогать.

Он посмотрел на Эриха.

— Мальчик, ты умеешь читать по-английски?

— Немного, — ответил Эрих. — В школе учили.

— Хорошо. Приходи сегодня ко мне. Я тебе кое-что покажу.

Он ушёл. Мать долго смотрела на конверт, потом спрятала его в шкаф.

— Странный он, — сказала она. — Американец. Но добрый.

Эриху было всё равно. Он смотрел в окно на дым, который всё ещё тянулся над городом, и думал об отце.

Вечером он поднялся к Говарду. Квартира американца была совсем не такой, как их — просторная, со светлыми обоями, ковром на полу и множеством книг. На столе стоял радиоприёмник — большой, с блестящими ручками и шкалой частот.

— Садись, — сказал Говард, указывая на кресло. — Хочешь какао?

— Нет, спасибо, — ответил Эрих.

— Тогда слушай. — Говард сел напротив, сложил руки на коленях. — Твой отец — коммунист. Это опасно. Очень опасно. В Германии сейчас нельзя быть коммунистом. Или евреем. Или просто не таким, как все.

— Я знаю, — сказал Эрих.

— Но есть ещё одна опасность, — продолжал Говард. —

О которой ты не знаешь. Советский Союз. Сталин. Он такой же тиран, как Гитлер. Только хитрее. Он тоже убивает людей — миллионами. Закапывает в ямах. Сжигает в печах.

Эрих смотрел на него и не понимал. В школе учили, что Советы — друзья Германии, что они заключили пакт о ненападении. Хотя пакт ещё не подписали — это случится через год. Но антисоветская пропаганда уже была.

— Зачем вы мне это говорите? — спросил Эрих.

— Потому что я хочу, чтобы ты понял, — ответил Говард. — Есть два зла. Нацизм и коммунизм. Одно мы можем победить войной. Другое — только если люди, как твой отец, перестанут в него верить.

— Мой отец верит в коммунизм, — сказал Эрих. — Он говорит, что это спасёт мир.

— Твой отец ошибается, — мягко сказал Говард. — Но он хороший человек. И я хочу ему помочь. И тебе. Поэтому я дам тебе кое-что.

Он встал, подошёл к радиоприёмнику, включил.

Из динамика послышалось шипение. Белый шум. Потом — голос. На английском.

— Что это? — спросил Эрих.

— Голос Америки, — ответил Говард. — Здесь говорят правду. О Гитлере, о Сталине, о войне. Слушай и учи английский. Пригодится.

Эрих слушал. Голос был женским, спокойным, почти ласковым. Она читала новости — о погромах в Германии, о ре-

акции мирового сообщества, о том, что Америка не останется в стороне.

Он понимал половину. Но то, что понимал, заставляло его сердце биться чаще.

— Почему вы помогаете нам? — спросил он, когда Говард выключил приёмник.

— Потому что я тоже человек, — ответил тот. — И потому что когда-то мне помогли. А теперь я помогаю другим. Так мир держится.

Он протянул Эриху маленькую книжку — английский словарь.

— Учи слова. Через месяц проверю.

Эрих взял книжку, поблагодарил и ушёл.

Через месяц он уже мог читать английские газеты — медленно, с ошибками, но мог. Говард хвалил его, давал новые задания, приносил книги — не только учебные, но и художественные. Хемингуэй, Драйзер, Лондон. Эрих читал запоем, забывая о голоде, о страхе, об отце, который сидел в Бухенвальде.

Писем от отца не было. Мать ездила в концлагерь дважды — её не пустили. Говорили: «Жив. Работает. Приедет, когда освободят». Но никто не знал, когда это будет.

Эрих злился. Злился на нацистов, на Гитлера, на весь мир. И в этой злости Говард нашёл благодатную почву.

— Ты хочешь отомстить? — спросил он однажды.

— Да, — ответил Эрих.

— Тогда слушай. Мсть — это не всегда пистолет и бомба. Иногда мсть — это знание. Если ты будешь знать то, чего не знают другие, ты сможешь победить любого врага.

— Чему вы хотите меня научить?

— Всему, — сказал Говард. — Английскому. Радиodelу. Шифрам. И тому, как выживать в этом безумном мире.

Он подошёл к окну, посмотрел на улицу, где всё ещё стояли обгоревшие остовы синагоги.

— Война будет, Эрих. Скоро. Германия проиграет её. Но после войны начнётся новая — между Америкой и Россией. И в этой войне нам понадобятся люди, которые знают правду. Ты хочешь быть таким человеком?

— Да, — сказал Эрих, не колеблясь.

— Тогда начинаем.

Следующие полгода Эрих учился. Говард показывал ему, как настраивать радиоприёмник на разные частоты, как различать голоса, как запоминать цифровые ряды. Он учил его азбуке Морзе, простейшим шифрам, тому, как прятать записки и передавать сообщения.

— Всё это может пригодиться, — говорил Говард. — Даже если ты никогда не станешь шпионом.

— А я стану? — спросил Эрих.

— Посмотрим, — улыбнулся американец. — Посмотрим.

В сентябре 1939 года Германия напала на Польшу. Началась война. Эриху было шестнадцать. Его призвали в трудовую повинность — рыть окопы, тушить пожары после бом-

бёжек, работать на заводе. Он делал всё, что велели, но по ночам слушал «Голос Америки» и записывал цифры в маленький блокнот, который прятал в тайнике.

Говард уехал в августе — сказал, что его отзывают в США. Перед отъездом он подарил Эриху радиоприёмник — маленький, плоский, который можно было спрятать под одеждой.

— Слушай эту волну, — сказал он, показывая частоту. — Если услышишь цифры — записывай. Когда-нибудь они тебе пригодятся.

— А вы вернётесь? — спросил Эрих.

— Не знаю, — ответил Говард. — Но кто-то вместо меня придёт. Не теряй надежды, Эрих. Твой отец гордился бы тобой.

Они обнялись. Говард ушёл. Эрих остался один — с матерью, с радиоприёмником и с ненавистью, которая росла внутри с каждым днём.

В 1941 году Германия напала на Советский Союз. Эриху было восемнадцать. Его отправили на Восточный фронт — не солдатом, ремонтником. Он чинил грузовики, танки, мотоциклы в полевых мастерских. Видел смерть, кровь, грязь. Видел, как умирают немецкие солдаты — от пуль, от холода, от голода. Видел, как умирают русские — ещё страшнее.

Отец всё ещё был в Бухенвальде — мать получала изредка известия через Красный Крест. «Жив, болен, надеется». Эрих писал отцу письма — те, что не отправлял. Просто пи-

сал, чтобы не забыть его лицо.

В 1943 году, под Сталинградом, его ранило — осколок в плечо. Отправили в госпиталь в Берлин, потом в Айзенах — долечиваться. Мать встретила его на вокзале — постаревшая, седая, с мёртвыми глазами.

— Твой отец умер, — сказала она, не плача. — В прошлом месяце. Сердце не выдержало.

Эрих кивнул. Он не плакал — он разучился плакать. Только сжал кулаки и дал себе новую клятву: он уничтожит их всех. И нацистов, и тех, кто за ними стоит. И коммунистов, которые предали его отца. И всех, кто делает этот мир таким.

Он вернулся на завод — Wartburg — работать механиком. По ночам слушал радио. Теперь голос диктора был мужским, жёстким, и он читал не только цифры, но и приказы: «Готовьтесь. Скоро всё изменится. Мы придём».

Эрих не знал, кто «мы». Но знал, что будет ждать.

В апреле 1945 года американские войска вошли в Айзенах. Эрих стоял у окна своей комнаты и смотрел, как по улице едут джипы с белыми звёздами. Солдаты улыбались, бросали детям шоколад, жевательную резинку. Немцы выходили из домов, махали белыми флагами, плакали от радости.

Эрих не плакал. Он смотрел и думал: «Это те, кого послал Говард. Те, кто поможет мне отомстить».

Через неделю в его дверь постучали. Он открыл — на пороге стоял американец в военной форме, с нашивками майора. Лицо его показалось Эриху знакомым — седые усы, доб-

рые глаза.

— Здравствуй, Эрих, — сказал он по-немецки с акцентом.
— Я обещал вернуться.

Это был Говард.

Они сидели в той же комнате, где когда-то пили какао и учили английский. Только теперь вместо какао — виски, принесённый Говардом.

— Твой отец был хорошим человеком, — сказал Говард.
— Он погиб за свои идеалы. Это достойно уважения.

— Он погиб зря, — ответил Эрих. — Коммунизм не победил.

— Но нацизм — тоже, — сказал Говард. — И это главное. А теперь начинается новая война. С Советским Союзом. Холодная. И нам нужны люди, как ты.

— Я готов, — сказал Эрих.

— Ты уверен? — Говард посмотрел ему в глаза. — Ты станешь агентом. Будешь жить под чужим именем. предавать друзей. Лгать близким. Это тяжёлая ноша.

— Мой отец был коммунистом, — ответил Эрих. — Его убили нацисты. Но коммунисты его предали — они заключили пакт с Гитлером. Значит, они такие же враги. Я буду бороться и с теми, и с другими.

— Тогда слушай, — Говард наклонился ближе. — Твоё кодовое имя — «Вагнер». В честь композитора. Ты будешь работать на нас. Сначала — на заводе, в отделе кадров. Потом — выше. Мы поможем тебе сделать карьеру. А когда

придёт время — ты станешь одним из самых ценных наших агентов.

— Что я должен делать?

— Пока — ничего. Ждать. Учиться. Слушать радио. Записывать цифры. Мы дадим сигнал.

Говард протянул ему маленький радиоприёмник — новый, мощный, с тонкой настройкой.

— Это твой голос в эфире. Слушай его каждый день. И помни: ты не один.

Эрих взял приёмник. Пальцы дрожали — в первый раз за много лет.

— Я не подведу, — сказал он.

— Знаю, — ответил Говард. — Знаю.

В ту ночь Эрих включил приёмник. Нашёл волну — ту самую, которую показывал Говард.

Шипение. Треск. Потом — голос. Женский. Спокойный. На этот раз — на немецком.

Эрих включил приёмник. Нашёл волну — ту самую, которую показывал Говард. Шипение. Треск. Потом — голос. Женский. Спокойный. На этот раз — на немецком. Голос читал цифры:

«Zwei — eins — null — vier — sieben. Zwei — zwei — null — drei — fünf. Null — drei — eins — acht — zwei. Vier — eins — null — drei — zwei. Ende».

Эрих записал: 21047 22035 03182 41032. У него ещё не было книги Канта, но Говард оставил маленький блокнот

с таблицей соответствия цифр буквам (простой шифр). Он сверил: 21047 = W, 22035 = i, 03182 = l, 41032 = k, затем пропуск. Ещё несколько групп (в сообщении их было больше) дали «kommen». В итоге получил: «Willkommen. Warten.» («Добро пожаловать. Жди.») Эрих улыбнулся.

Эрих выключил приёмник, спрятал под половицу. Лёг на кровать, закрыл глаза.

В голове звучал белый шум — тот самый, который он слушал много лет назад, когда Говард впервые включил «Голос Америки». Тогда он не понимал, что это значит. Теперь — понимал.

Это был его новый мир. Мир теней, лжи и предательства. Мир, в котором он должен был выжить, чтобы отомстить.

Он заснул под этот шум. И во сне ему приснился отец — живой, здоровый, улыбающийся. Он стоял на пороге их дома в Айзенахе и говорил: «Ты всё делаешь правильно, сын. Мсти. Борись. Не сдавайся».

Эрих проснулся в слезах — первый раз после смерти отца.

Он вытер лицо рукавом, встал, подошёл к окну.

На улице было утро. Американские солдаты ехали на джипах, раздавали шоколад детям. Немцы улыбались. И Эрих улыбнулся — впервые за долгое время.

Он знал, что это только начало.

И что белый шум никогда не смолкнет.

Часть четвёртая. Война (1941—1944)

Глава 12. Эвакуация в Пермь

Октябрь 1941 года

Октябрь 1941 года выдался на Урале ранним и злым. Снег выпал уже в начале месяца, засыпав землю белым саваном, из которого торчали только чёрные стволы деревьев да крыши домов. Температура упала до минус пятнадцати, а ветер, дующий с севера, пронизывал до костей, превращая любую надежду на тепло в насмешку.

Иван Каганович стоял на перроне железнодорожной станции в Днепропетровске и смотрел, как грузят оборудование в вагоны. Станция называлась «Днепропетровск-Главный», но главного в ней сейчас ничего не было — только хаос, грязь, мат и смертельная усталость тысяч людей, которые пытались спасти от немцев то, что ещё можно было спасти.

Война пришла в июне. Сначала казалось, что Красная армия остановит врага на границе — так говорили газеты, так вещало радио, так уверяли политработники. Но немцы шли вперёд, как лавина, сметая всё на своём пути. Киев пал в сентябре. Одесса держалась, но уже было ясно, что её не

удержать. А теперь, в октябре, танки Гудериана рвались к Москве, и Днепропетровск оказался на пути этой стальной реки.

Ивану приказали эвакуировать завод. Тот самый завод, где он начинал простым механиком, где собирал американские конвейеры, где учил других работать по-новому. Теперь завод должен был уехать на Урал, в город Молотов — так с 1940 года называлась Пермь. Туда, где холод, тайга и, как надеялись в Москве, безопасность.

— Товарищ Каганович! — крикнул кто-то. — Последний станок погрузили!

Иван обернулся. К нему бежал молодой мастер — Фёдор, парень лет двадцати, в замасленной спецовке и шапке-ушанке. Лицо у него было чёрным от копоти, глаза красными от недосыпа.

— Сколько вагонов? — спросил Иван.

— Сорок три, — ответил Фёдор. — Плюс три с людьми. Жёны, дети, старики.

— Мало, — покачал головой Иван. — Надо было пятьдесят.

— Не успели, — Фёдор вытер лицо рукавом. — Немцы уже в Запорожье. Если завтра не уйдём — отрежут.

Иван кивнул. Он знал. Он получал сводки каждый час. Немцы шли быстро, как будто знали, где наши слабые места. Или как будто им кто-то подсказывал.

Он прогнал эту мысль. Не сейчас. Не здесь.

— Формируй состав, — сказал он. — Через два часа отправляемся.

— А вы? — спросил Фёдор. — Вы с нами?

— С вами, — ответил Иван. — Я начальник эвакуации. Моё место в последнем вагоне.

Фёдор козырнул — по-военному, хотя не был военным — и побежал к составу. Иван остался один.

Он смотрел на дым, поднимавшийся над городом. Горели склады, горели дома, горело всё, что нельзя было вывезти. Запах гари стоял в воздухе, смешиваясь с запахом снега и мазута. Где-то далеко, за Днепром, ухали взрывы — немцы бомбили переправы.

«Вот она, война, — подумал Иван. — О которой мы столько говорили и к которой оказались не готовы».

Он вспомнил 1939 год, когда они с Настей сидели у радиоприёмника и слушали сообщение о пакте Молотова-Риббентропа. «Мир, — сказал тогда Сталин. — Это мир для нашей страны». Иван не поверил. И оказался прав.

Теперь Настя с Сашей были уже в Молотове — их отправили в первых числах октября, в одном из пассажирских составов, который чудом прорвался сквозь бомбёжки. Иван получил от неё открытку — короткую, без обратного адреса: «Доехали. Живём у чужих. Ждём. Береги себя». Он спрятал открытку во внутренний карман гимнастёрки и с тех пор носил с собой, как талисман.

Поезд тронулся в четыре часа дня. Сорок три вагона со

станками, три с людьми — и в хвосте два платформы с зенитками, чтобы отбиваться от самолётов. Паровоз был старым, ещё царских времён, с низкой трубой и облезлым котлом. Он пыхтел, дёргался, выпускал клубы чёрного дыма, но тянул — нехотя, со скрипом, но тянул.

Иван сидел в тамбуре последнего вагона, сжимая в руке автомат — трофейный, немецкий, МП-40. Его выдали на складе за час до отправки, вместе с двумя дисками патронов. Он не умел стрелять из автомата — учился когда-то из винтовки, на курсах Осоавиахима, но это было давно. Однако держать оружие было спокойнее. Как будто оно могло защитить от бомб, от пуль, от страха.

В вагоне, за спиной, плакали дети. Кто-то кашлял — сухо, надрывно. Женщины перешёптывались, мужчины молчали. Пахло потом, прелой соломой и ещё чем-то кислым — страхом, который не выветривался даже на морозе.

— Товарищ начальник, — раздался голос сзади.

Иван обернулся. В тамбур, придерживаясь за поручни, входила женщина. Молодая, лет тридцати, в длинном пальто и платке, повязанном по-деревенски — узлом под подбородком. Лицо её было бледным, усталым, но глаза — живыми, цепкими.

— Зинаида, — представилась она, протягивая руку. — Зинаида Козырева. Еду в Молотов. К мужу.

Иван пожал руку — ладонь была холодной, но сильной.

— Иван Каганович, — ответил он. — Начальник эвакуа-

ции.

— Знаю, — сказала она. — Мне о вас говорили. Вы — тот самый, из наркомата.

— Тот самый, — усмехнулся Иван. — А вы кто? Тоже из наркомата?

— Нет, — она покачала головой. — Я из обкома. Свердловского. Еду в командировку. Или уже не в командировку — теперь непонятно.

Она достала папиросу, закурила — мужским движением, выпустив дым в потолок тамбура. Иван не курил, но запах табака сейчас казался почти родным.

— Страшно? — спросил он.

— Страшно, — ответила она, не кривя душой. — Всем страшно. Только кто-то признаётся, а кто-то — нет.

— А вы признаётесь.

— Я умею признаваться, — сказала она, глядя в темноту за окном. — Всему. И страху, и боли, и даже слабости. Это помогает.

— Что помогает?

— Не сойти с ума, — ответила она и улыбнулась — грустно, по-женски.

Они помолчали. Поезд стучал колёсами, отбивая ритм, который Иван слышал потом всю жизнь: тук-тук-тук, тук-тук-тук, как сердце, как шаги, как счётчик Гейгера.

— Вы давно в Днепропетровске? — спросила Зинаида.

— С тридцать первого, — ответил Иван. — Десять лет.

Приехал молодым инженером, а уезжаю — стариком.

— Вам сколько?

— Тридцать семь.

— А мне тридцать, — сказала она. — Но чувствую на все шестьдесят.

— Война старит, — кивнул Иван. — Быстрее, чем время.

Она докурила, бросила окуроч за борт — в темноту, где мелькали снежные поля и редкие огоньки деревень.

— Пойду, — сказала она. — Дочка там одна, боится.

— Идите, — ответил Иван. — Я здесь покараулю.

Она ушла, оставив после себя запах табака и духов — дешёвых, «Красная Москва», но всё же духов. Иван снова остался один.

Он думал о Зинаиде. Что-то в ней было необычное — не только красота, не только смелость. Какая-то внутренняя собранность, как будто она знала больше, чем говорила. Как будто она тоже жила двойной жизнью.

«Но какая разница, — подумал он. — Сейчас мы все живём двойной жизнью. Одна — наяву, другая — в страхе».

Он поправил автомат и стал всматриваться в темноту. Где-то там, за горизонтом, горела Украина. И, может быть, горела навсегда.

Ночью поезд остановился. Не по расписанию — экстренно. Иван спрыгнул с подножки, утопая в снегу по колено. Впереди, у головы состава, кто-то кричал, бегали с фонарями.

— Что случилось? — спросил он у пробежавшего красноармейца.

— Путь разбит, — ответил тот. — Бомбили вчера. Объезд через Полтаву, но там немцы. Командир решает.

Иван побежал вперёд, проваливаясь в сугробы, ругаясь сквозь зубы. В голове стучала одна мысль: «Только не здесь. Только не сейчас. Мы должны успеть».

Командир эшелона — лейтенант из железнодорожных войск — стоял у карты, освещённой фонарём.

— Есть путь через Кременчуг, — сказал он, показывая пальцем. — Но там мост. Если немцы его не разбомбили — пройдем. Если разбомбили — только через Днепродзержинск, а это крюк в двести километров.

— А что говорят разведчики? — спросил Иван.

— Разведчики говорят, что в Кременчуге уже стреляют, — ответил лейтенант. — Не советую.

— Тогда через Днепродзержинск, — решил Иван. — Ведите.

— А топливо? — спросил лейтенант. — Нам не хватит.

— Найдём, — сказал Иван. — Я достану.

Он не знал, как достанет. Но знал, что должен. Потому что если поезд встанет, всё пропало — и станки, и люди, и надежда когда-нибудь вернуться.

Поезд тронулся через час. Иван всю дорогу не спал — сидел в тамбуре с автоматом и слушал, как стучат колёса. Иногда ему казалось, что в этом стуке он слышит голос — жен-

ский, спокойный, который читает цифры. 17920, 14814... Цифры, которые он слушал много лет, которые стали частью его крови.

«Зачем я это делаю? — думал он. — Зачем я предаю страну, которую спасаю? Или я спасаю не страну, а себя?»

Ответа не было.

На третьи сутки пути, под Харьковом, налёт.

Иван услышал вой сирены за минуту до того, как разорвалась первая бомба. Он выскочил из тамбура, упал на снег, прижался к земле. Взрывная волна ударила по ушам, ослепила светом. Где-то рядом закричали люди.

— В укрытие! — заорал он, вскакивая. — Все в укрытие!

Люди выпрыгивали из вагонов, бежали в кюветы, падали на землю. Женщины прижимали к себе детей, мужчины прикрывали их собой. Зенитки открыли огонь — глухо, размеренно, как будто отбивали ритм похоронного марша.

Иван увидел Зинаиду. Она стояла у вагона с ребёнком на руках — девочкой лет пяти — и не двигалась. Глаза её были широко открыты, лицо белым, как снег.

— Бегите! — крикнул Иван, подбегая к ней.

— Не могу, — прошептала она. — Ноги не идут.

Он схватил её за руку, потащил к кювету. Сзади раздался ещё один взрыв — ближе, громче. Иван упал, накрыв Зинаиду и девочку собой. Осколки просвистели над головой, врезались в вагон, зазвенели по рельсам.

Когда он поднял голову, рядом горел один из вагонов —

тот, где ехали станки. Пламя взметалось вверх, освещая всё вокруг багровым светом.

— Живы? — спросил Иван.

— Живы, — ответила Зинаида. Голос её дрожал, но глаза уже стали осмысленными.

— Отползайте к лесу, — сказал он. — Я сейчас.

Он побежал к горящему вагону. Внутри были ящики с инструментами — тем, что нельзя было потерять. Он вскочил на подножку, дёрнул дверь — заклинило. Ударил ногой, ещё раз — дверь поддалась.

Внутри всё горело. Дым ел глаза, мешал дышать. Иван нащупал ящик, вытащил, бросил на снег. Потом второй, третий. Горели волосы, гимнастёрка, но он не чувствовал.

Когда он вытащил последний ящик, вагон взорвался. Взрывной волной его отбросило на десять метров. Он упал на спину, ударился головой, потерял сознание.

Очнулся от того, что кто-то тряс его за плечо. Над ним стояла Зинаида — живая, целая, с ребёнком на руках.

— Вставайте, — сказала она. — Надо уходить. Немцы близко.

Иван встал. В голове гудело, перед глазами плыли круги. Но он держался.

— Сколько убитых? — спросил он.

— Четверо, — ответила Зинаида. — И семнадцать раненых.

— Станки?

— Часть сгорела. Но те, что вы вытащили, целы.

Иван кивнул. Четверо убитых. Четверо человек, которых он не спас.

— Похороним, — сказал он. — И дальше.

Хоронили в лесу, в братской могиле. Мёрзлую землю долбили ломами, копали штыковыми лопатами. Священника не было — читали гражданскую панихиду, как тогда было принято. Слова были казёнными, но люди плакали по-настоящему.

Иван стоял у края могилы и смотрел на четыре тела, завёрнутых в простыни. Он не знал их имён. Он знал только, что они погибли, потому что он повёл поезд этой дорогой, а не другой.

— Товарищ начальник, — раздался голос за спиной.

Он обернулся. Зинаида держала в руках платок — белый, с вышивкой.

— Возьмите, — сказала она. — Это вам. На память.

— Что это? — спросил Иван, беря платок.

— Вышивка. Я сама делала. Красные нитки — кровь, синие — небо, чёрные — земля. И жёлтые — солнце, которое когда-нибудь взойдёт.

Иван посмотрел на платок. Узоры были сложными — крестики, ромбики, какие-то знаки, которых он не понимал.

— Спасибо, — сказал он, пряча платок во внутренний карман — туда же, где лежала открытка от Насти. — Я сохранию.

— Сохраните, — сказала Зинаида. — Он вам ещё пригодится.

В её глазах было что-то, чего Иван не мог понять. Как будто она знала то, чего не знал он.

Они вернулись к поезду. Раненых погрузили в вагоны, убитых оставили в земле. Паровоз загудел — глухо, надрывно, как будто плакал по погибшим.

Поезд тронулся. Иван опять сел в тамбур, сжав в руке автомат. Платок лежал у сердца, и ему казалось, что он чувствует тепло — чужое, незнакомое, но такое нужное.

«Кто она? — думал он о Зинаиде. — Обычная женщина или кто-то ещё? И почему она дала мне этот платок?»

Ответа не было. И он решил не искать. Сейчас — только дорога, только выживание, только завод, который нужно спасти.

Остальное — потом.

В Молотов прибыли через две недели. Город встретил их морозом, снегом и суетой. На вокзале толпились такие же эвакуированные, как они — с узлами, чемоданами, детьми. Все куда-то бежали, все чего-то ждали, все боялись.

Иван сдал станки на Уралмаш — гигантский завод, который уже работал в три смены, выпуская танки для фронта. Ему выделили комнату в общежитии — такую же маленькую, как в Днепропетровске, но хотя бы тёплую.

Настя встретила его на пороге. Она похудела, постарела, но глаза светились радостью.

— Живой, — сказала она, обнимая его. — Я молилась за тебя.

— Я не верю в бога, — ответил Иван.

— А я поверила, — сказала она. — Когда началась война, я поверила. И теперь молюсь каждую ночь.

Он не спорил. Он вошёл в комнату, увидел Сашу — сын вырос, стал выше, серьёзнее. Мальчик смотрел на отца с уважением и страхом.

— Папа, — сказал он. — Ты пришёл.

— Пришёл, — ответил Иван, обнимая его. — И больше не уйду.

Он знал, что врёт. Он уйдёт. Снова. На войну, на задание, в неизвестность. Но сейчас, в эту минуту, он хотел верить, что это правда.

Ночью, когда Настя и Саша уснули, Иван достал радиоприёмник. Тот самый, который передал ему Спенсер ещё в Днепропетровске. Включил. Нашёл волну.

Шипение. Треск. Потом — голос. Женский. Спокойный.

Иван включил приёмник. Нашёл волну. Шипение. Треск. Потом — голос. Женский. Спокойный. Голос читал цифры по-русски:

«Три — ноль — один — два — пять. Семь — четыре — два — ноль — один. Девять — один — три — ноль — два. Пять — два — ноль — один — семь. Четыре — один — два — ноль — три. Конец».

Иван достал потрёпанный том Ленина «Государство и ре-

волюция», московское издание 1918 года, которое возил с собой. Координаты: страница, строка, слово, буква. Расшифровал: «План танков Уралмаш. Срок две недели». Сжёг бумагу.

Иван выключил приёмник, спрятал под половицу. Лёг на кровать, закрыл глаза.

Платок Зинаиды лежал у сердца. Иван провёл пальцами по вышивке — крестики, ромбики, знаки. И вдруг понял.

Это был шифр.

Не просто узоры — а явка. Адрес, время, пароль. Всё, что нужно для связи.

Он открыл глаза, посмотрел в потолок.

«Кто же ты, Зинаида? — подумал он. — Агент? Как я? Или ловушка?»

Он не знал. И знал, что не узнает, пока не проверит.

Но проверять сейчас было некогда. Сначала — завод. Потом — задание. Потом — белый шум.

А платок он спрятал в тайник — туда же, где лежал приёмник.

На всякий случай.

На следующий день Иван пошёл на Уралмаш. Завод был огромным — цеха уходили вдаль, дышали металлом, паром, потом. Здесь ковали оружие для победы. Здесь работали женщины и старики — мужчины были на фронте. Здесь пахло не надеждой, а сталью.

Иван прошёл в цех сборки танков. Т-34 — машина, кото-

рую немцы боялись, которую называли «чудо-оружием». Он смотрел на конвейер и думал: «Я строил заводы для этого. Я верил, что строю мирную жизнь. А построил войну».

Он подошёл к мастеру — пожилому, с орденом Ленина на замасленной гимнастёрке.

— План? — спросил он.

— Сорок танков в месяц, — ответил мастер. — Но можем и пятьдесят, если дадут металл.

— Дадут, — сказал Иван. — Я достану.

Он доставал. Через свои старые связи, через наркомат, через Стива, который теперь работал в Москве под видом шведского атташе. Иван передавал планы, а взамен получал металл. Торговля совестью продолжалась.

Он уже не чувствовал стыда. Только усталость.

Белый шум звучал в голове постоянно — даже когда приёмник был выключен.

Иван привык.

Как привыкают к боли, которая становится частью тела.

Глава 13. Сталинград, 1942. Степь на войне

Август 1942 года пылал. Небо над Сталинградом было серым от дыма — не от облаков, от пожаров. Город горел уже вторую неделю, с тех пор как немецкие бомбардировщики превратили его в ад. Горели нефтехранилища, и Волга покрылась чёрной маслянистой плёнкой, в которой отражалось зарево. Горели деревянные дома на окраинах, и запах гари стоял такой плотный, что, казалось, его можно было резать ножом. Горели люди.

Николай Бережной стоял на руинах того, что ещё неделю назад было школой на улице Комсомольской. Теперь от школы остались только стены — выщербленные, с чёрными провалами окон. Внутри, в подвале, размещался его полк — остатки дивизии, которую немцы растрепали под Калачом. Триста двадцать бойцов, две пушки, семь пулемётов и надежда, которая таяла с каждым днём.

Он смотрел в бинокль на западную окраину города, откуда доносилась стрельба. Там, у Мамаева кургана, шёл бой. С утра. Немцы рвались к центру, к переправам через Волгу. Если они возьмут переправы — всё. Полк окажется в котле, как те, под Калачом.

— Товарищ комиссар, — раздался голос за спиной.

Николай обернулся. Это был старшина Егоров — пожи-

лой, лет сорока, с нашивками за ранения и лицом, изрезанным морщинами, как старая карта. Егоров командовал ротой, которая держала оборону у вокзала.

— Докладывай, — сказал Николай, не опуская бинокля.

— Немцы прорвались к элеватору, — Егоров вытер пот с лица — пот был чёрным от копоти. — Два танка, рота пехоты. Наши держатся, но патроны на исходе.

— Сколько у вас?

— Сто двадцать патронов на брата. И три гранаты на отделение.

Николай опустил бинокль. Внутри всё сжалось. Сто двадцать патронов — это час боя, не больше.

— Держитесь, — сказал он. — Я пришлю подкрепление.

— Откуда, товарищ комиссар? — спросил Егоров. — У нас же никого.

— Найду, — ответил Николай. — Исполняйте.

Егоров козырнул и ушёл, тяжело ступая по битому кирпичу. Николай остался один.

Он знал, что никого не найдёт. Людей не было. Те, кто выжил после Калача, лежали в подвале — раненые, обессиленные, деморализованные. Он мог послать в бой даже поваров и писарей, но их было всего двадцать человек. Двадцать против двух танков и роты.

«Вот она, война, — подумал он. — О которой мы столько говорили и к которой оказались не готовы».

Он вспомнил 1935 год, Фрица, Джона, первые задания.

Тогда он думал, что война — это далеко. Что он успеет. Что он сможет выбирать. Теперь выбор был только один: умереть или победить. И он выбирал победу.

— Комиссар! — крикнул кто-то снизу. — Комиссар, смотрите!

Николай подошёл к краю обрыва. Внизу, у самой Волги, что-то падало — маленькое, чёрное, с хвостом дыма. Самолёт. Немецкий? Наш? Он не понял. Самолёт рухнул в воду, подняв столб брызг и пара. Через секунду из кабины выскочил человек — в комбинезоне, с парашютом, который не раскрылся. Человек упал в воду, забился, поплыл к берегу.

— Кто-нибудь, вниз! — крикнул Николай. — Спасите лётчика!

Двое бойцов побежали к воде. Николай смотрел, как они вытаскивают лётчика — тот был в шлемофоне, без знаков различия, но по комбинезону Николай понял: американский. «Киттихаук»? «Аэрокобра»? По ленд-лизу. Наши лётчики летали на американских самолётах, но таких — в Сталинграде — было немного.

Лётчика принесли в подвал. Он был без сознания, но дышал. Николай наклонился, расстегнул шлемофон. Лицо — молодое, веснушчатое, с рыжими бровями. Американское. Точно американское.

— Воды, — сказал Николай. — И бинты.

Пока бойцы возились с раненым, Николай осмотрел его комбинезон. В кармане — портсигар, зажигалка, фотогра-

фия девушки. И маленький блокнот — с записями на английском. Николай не понял слов, но заметил цифры. Те самые цифры, которые он слушал по ночам в приёмнике.

«Совпадение? — подумал он. — Или нет?»

Лётчик открыл глаза. Сначала мутные, потом — осмысленные. Увидел Николая, попытался встать.

— Easy, easy, — сказал Николай по-английски. — You are safe.

Лётчик заговорил быстро, сбивчиво. Николай понял половину: «Истребитель, сбили, ранен, где немцы?» Он успокоил, дал воды. Потом, когда бойцы вышли, спросил тихо:

— Кто вы? Просто лётчик?

Американец посмотрел на него долгим взглядом. Потом достал из-за голенища сапога маленький плоский предмет — похожий на зеркальце. Но это было не зеркальце. Это был удостоверение. С эмблемой. С фотографией. Надпись: «Office of Strategic Services».

УСС. Предшественник ЦРУ.

— Я специальный агент, — сказал американец по-русски — с акцентом, но вполне понятно. — Меня зовут Джеймс. Можно просто Джеймс.

Николай похолодел. Джеймс — так звали его первого связного. Того, кто завербовал его в Краснодаре. Но тот Джеймс был другой — старше, выше, с усами. А этот — молодой, почти мальчишка.

— Вы знаете Фрица? — спросил Николай, не надеясь на

ответ.

— Фогеля? — переспросил американец. — Да. Он мой наставник.

Николай понял. Это был новый связной. Тот, кого он должен был встретить, но не встретил — война спутала все карты.

— Я Степь, — сказал Николай тихо, так, чтобы никто не услышал.

Американец кивнул.

— Знаю. Я искал вас. У меня задание.

— Какое?

— Передать координаты переправы через Волгу. Наши не будут бомбить, если узнают, где свои.

— Координаты? — переспросил Николай. — У вас есть координаты?

— В блокноте, — сказал Джеймс. — Который вы нашли. Цифры.

Николай достал блокнот, открыл на странице, где были цифры. Те самые, что он видел. 48.694, 44.502. Он не знал, что это значит, но Джеймс объяснил:

— Широта и долгота. Место, где наши переправляют раненых. Если немцы узнают — они разбомбят переправу. Если наши — защитят. Вы должны передать эти цифры командованию.

— Я комиссар, — сказал Николай. — Я могу передать.

— Передайте, — Джеймс схватил его за руку. — Но не

говорите, откуда узнали. Скажите, от разведчиков.

— А вы? — спросил Николай.

— Я уйду, — ответил Джеймс. — У меня другое задание. В городе.

— Как вы уйдёте? Вас же собьют.

— Не собьют, — усмехнулся Джеймс. — Я не полечу. Я пойду. Пешком. К своим.

Николай хотел возразить, но не стал. Он знал: с такими людьми не спорят. Они либо побеждают, либо умирают.

— Хорошо, — сказал он. — Я передам координаты. А вы будьте осторожны.

— Вы тоже, — ответил Джеймс. — И помните: мы на одной стороне.

Он встал, пошатнулся, но устоял. Поправил комбинезон, застегнул шлемофон.

— Прощайте, Степь.

— Прощайте, Джеймс.

Американец вышел из подвала и исчез в дыму.

Через час Николай передал координаты командованию дивизии. Сказал, что разведчики перехватили немецкий шифр. Ему поверили — комиссар не врёт. Переправу укрепили, зенитки поставили, раненых успели вывезти до того, как немцы начали обстрел.

Сто двадцать семь человек были спасены. Сто двадцать семь человек, которых Николай не знал, но которых он спас.

«Зачем я это сделал? — думал он. — Чтобы помочь сво-

им? Или чтобы отработать задание?»

Ответа не было. И он не искал.

На следующий день пришло известие о брате.

Лёня Бережной, младший брат Николая, лейтенант, командир взвода, погиб под Мамаевым курганом. Осколок мины в живот. Умер в санбате через два часа. Не приходя в сознание.

Николай узнал об этом от связиста, который принёс похоронку. Похоронка была казённой — серый листок, казённые слова: «Ваш брат, лейтенант Бережной Леонид Николаевич, пал смертью храбрых...» Николай прочитал три раза. Потом положил листок в карман гимнастёрки — туда, где лежало письмо от матери, полученное ещё в сороковом.

Мать умерла в тридцать седьмом. От рака. Не дождалась ни сыновей, ни внуков. А теперь и Лёни не стало.

— Товарищ комиссар, — сказал связист. — Вы как?

— Нормально, — ответил Николай. — Свободен.

Связист ушёл. Николай остался один.

Он сидел на ящике из-под снарядов, смотрел на обгоревшую стену и не мог плакать. Глаза были сухими — от дыма, от пыли, от горя. Он хотел закричать, завывать, разбить что-нибудь. Но не мог. Комиссар не имеет права на слабость. Комиссар должен быть примером.

«Лёнька, — думал он. — Лёнька, дурак. Зачем ты полез? Зачем не спрятался?»

Он вспомнил, как они росли в Краснодаре — два брата,

погодки. Лёня был младшим, шустрым, веснушчатым, вечно в драках. Николай защищал его, учил, воспитывал. А теперь — хоронить.

Он достал флягу, открутил крышку. Внутри была водка — спирт, разведённый водой. Он сделал глоток. Горло обожгло, но легче не стало.

Он сделал ещё глоток. Потом ещё.

Когда фляга опустела, он встал, вышел из подвала и пошёл в сторону Волги.

Волга была тёмной, маслянистой, с пятнами горящей нефти. Зарево пожаров отражалось в воде, и казалось, что река горит — от берега до берега.

Николай сел на причал, свесил ноги в воду. Сапоги промокли, но ему было всё равно. Он смотрел на огни и думал о том, как глупо всё это. Война, смерть, предательство. Он предал страну, чтобы спасти себя. А страна предала его — забрала брата, отца, мать. И теперь они квиты.

— Товарищ комиссар, — раздалось сзади.

Он обернулся. Подошёл старшина Егоров — тот самый, который докладывал о прорыве. Лицо у него было уставшим, но спокойным.

— Я слышал про вашего брата, — сказал Егоров. — Соболезную.

— Спасибо, — ответил Николай.

— Пойдёмте, — Егоров протянул руку. — Нечего вам здесь сидеть. Только хуже будет.

Николай взял руку, встал. Ноги были ватными — от воды, от усталости, от горя. Но он держался.

— Идём, — сказал он.

Они пошли обратно — в подвал, в штаб, в бой. Егоров шёл впереди, Николай — сзади. И казалось, что весь город идёт за ними — миллионы душ, живых и мёртвых, которые смотрели на него из темноты.

«Зачем я здесь? — думал Николай. — Зачем я живу, если Лёнька умер?»

Ответа не было. Только белый шум в голове — тот самый, который он слушал по ночам в приёмнике. Теперь он звучал иначе — как плач, как стон, как молитва.

«Прости меня, Лёнька, — мысленно сказал Николай. — Прости меня, дурака. Не уберёг».

Он не знал, слышит ли его брат. Но надеялся, что слышит.

Три дня после похоронки Николай пил. Не в открытую — тайком, в подсобке, где хранились снаряды. Пил спирт, разведённый водой, пил самогон, который гнал повар, пил технический спирт, от которого слезились глаза. Он хотел забыться, провалиться в темноту, не чувствовать боли.

Но боль не уходила. Она сидела в груди, как заноза, и ныла при каждом вдохе.

Егоров нашёл его на третьи сутки. Сидел в углу, обняв пустую флягу, и смотрел в одну точку.

— Товарищ комиссар, — сказал Егоров. — Хватит. Война не ждёт.

— Отстань, — ответил Николай.

— Не отстану. — Егоров присел на корточки, заглянул в глаза. — Ваш брат погиб. Это горе. Но у нас ещё триста человек, которые могут погибнуть, если вы не будете командовать. Вы им нужны.

— Кому нужны? — усмехнулся Николай. — Мёртвым?

— Живым, — сказал Егоров. — Тем, кто ещё дышит. Вставайте.

Николай посмотрел на него долгим взглядом. Потом встал — шатаясь, хватаясь за стену. Егоров поддержал.

— Идём, — сказал он. — Умоетесь. И за дело.

Они вышли. На улице был день — серый, дымный, без солнца. Где-то стреляли — близко, совсем близко. Война не ждала.

Николай умылся из фляги — холодной водой, которая обожгла лицо. Сполоснул рот, сплюнул. В голове прояснилось.

— Спасибо, Егоров, — сказал он. — Спасибо, что не бросили.

— Бросать своих не положено, — ответил старшина. — Устав.

Николай усмехнулся. Устав. Бумажка, которую пишут в тылу, а выполняют — на передовой. Но сегодня устав спас ему жизнь. Или, может быть, не устав, а Егоров. Или Лёнька, который смотрел на него с небес и говорил: «Живи, дурак. Живи за нас обоих».

В ту ночь Николай не спал. Сидел у окна подвала, смотрел на зарево пожаров и слушал радио. Не приёмник — походную рацию, на которой передавали сводки Совинформбюро. Голос диктора был бодрым, почти весёлым: «Наши войска ведут упорные бои с превосходящими силами противника...»

«Превосходящими, — подумал Николай. — Дипломатично сказано. У них танки, самолёты, патроны. А у нас — голые руки и вера в победу».

Он выключил рацию. Достал из кармана маленький радиоприёмник — тот самый, плоский, который передал ему Джеймс много лет назад. Включил. Нашёл волну.

Шипение. Треск. Потом — голос. Женский. Спокойный. На этот раз — на русском.

Он включил маленький радиоприёмник — тот самый, плоский, который передал ему Джеймс много лет назад. Нашёл волну. Шипение. Треск. Потом — голос. Женский. Спокойный. На этот раз — на русском. Голос читал цифры:

«Четыре — два — один — ноль — пять. Семь — один — три — ноль — два. Девять — ноль — четыре — один — три. Восемь — два — один — ноль — четыре. Пять — три — два — ноль — один. Конец».

Николай достал из кармана «Капитал» Маркса — книгу, которую ему передал связной. Расшифровал: «Соболезнования. Работай дальше». Он не плакал. Он сжал кулаки и убрал приёмник.

Николай выключил приёмник. Спрятал. Закрыв глаза.

Они знали. Они знали про Лёньку. И соболезнавали. Как будто это могло что-то изменить.

Он сжал кулаки, до хруста в пальцах.

«Я отомщу, — подумал он. — Не вам — им. Немцам. Тем, кто убил моего брата. А потом — разберусь с вами. Со всеми, кто сделал меня предателем».

Он не знал, сможет ли. Но знал, что должен попытаться.

На следующий день полк подняли в атаку. В лоб, на пулемёты, без артподготовки. Командир дивизии сказал: «Любой ценой задержать противника до подхода резервов». Николай понимал, что это значит: «Умереть, но не отступить».

Он встал в цепь вместе с бойцами. Винтовка, штык, гранаты. И автомат — тот самый, трофейный, МП-40. Он не умел из него стрелять, но сегодня это было не важно. Сегодня он должен был быть с ними — с этими людьми, которые шли в бой, зная, что не вернуться.

— Вперёд! — крикнул он, и цепь поднялась.

Они бежали по разбитой мостовой, перепрыгивая через воронки, через трупы, через обломки. Пули свистели над головой, выбивали искры из камней. Кто-то падал, кто-то кричал, кто-то молился. Николай бежал и не чувствовал ног. Он видел только огонь, дым и впереди — немецкие танки, которые ползли к ним, как стальные черепахи.

Они залегли у полуразрушенного дома. Николай пересчитал бойцов — двадцать семь человек из сорока. Десять уби-

ты, трое ранены. А впереди — три танка и рота пехоты.
— Гранаты к бою! — скомандовал он.

Бойцы вытащили гранаты — РГД-33, тяжёлые, с длинными рукоятками. Такие нужно было метать с разбега, с близкого расстояния. А расстояние было — метров тридцать.

— По моей команде! — крикнул Николай. — Огонь!

Они бросились вперёд. Николай бежал и молился — не богу, в которого не верил, а Лёньке, который смотрел на него с небес. «Помоги, брат. Помоги мне выжить. Помоги мне отомстить».

Он метнул гранату — она упала под гусеницу головного танка. Взрыв. Танк дёрнулся, замер, задымил. Бойцы метали гранаты в следующие. Ещё один взрыв. Ещё. Пулемёты строчили непрерывно, выкашивая ряды.

Николай упал. Пуля ударила в плечо — он почувствовал удар, потом жар, потом боль. Но он встал, побежал дальше. Нельзя останавливаться. Нельзя.

Он добежал до второго танка, выдернул чеку последней гранаты, бросил в открытый люк. Взрыв. Танк вспыхнул, как свеча.

— Ура! — закричал кто-то сзади. — Комиссар подбил танк!

Николай не слышал. Он упал на колени, обхватив голову руками. В ушах звенело — от взрывов, от криков, от белого шума.

Когда он поднял голову, немцы отступали. Танки горели,

пехота бежала. Бой был выигран. Ценой двенадцати жизней.

Николай сидел в грязи, сжимая в руке автомат, и смотрел на поле боя. Дым, огонь, трупы. И где-то среди них — те, кто шёл с ним в атаку.

«Зачем? — подумал он. — Зачем мы это делаем? Чтобы победить? Или чтобы умереть?»

Ответа не было. Только белый шум.

Через неделю Николая наградили орденом Красного Знамени. За мужество и героизм. В приказе было написано: «Тов. Бережной Н. Н., военный комиссар полка, лично подбил два танка противника и увлёк бойцов в атаку». Ни слова о том, что он плакал ночью, когда никто не видел. Ни слова о том, что он пил спирт, чтобы забыть брата. Ни слова о том, что он — агент ЦРУ.

Николай получил орден, приколот к гимнастёрке и пошёл в штаб. Там его ждал новый приказ: «Формировать дивизию. Отходить за Волгу».

Он не спорил. Он устал спорить.

В октябре, когда листья облетели и пошёл первый снег, Николай получил письмо от Джеймса. Не от того, молодого — от старого, своего первого связного. Письмо было коротким, написанным на клочке бумаги и переданным через связного:

«Степь. Поздравляю с наградой. Горжусь тобой. Война кончится. Мы выиграем. Готовься к мирной жизни. Она будет труднее войны. Джеймс».

Николай прочитал, сжёг в печке и долго смотрел на пепел.

«Мирная жизнь, — подумал он. — О чём ты, Джеймс?

Какая мирная жизнь после всего, что мы сделали?»

Он не знал. И знать не хотел.

Он хотел только одного — чтобы война кончилась. Чтобы больше не убивали. Чтобы можно было спать спокойно, без белого шума в голове.

Но белый шум не уходил.

Он звучал всегда.

Глава 14. Тюрьма Хоэншёнхаузен, 1943

Февраль 1943 года не собирался сдаваться. Над Берлином висело низкое, свинцовое небо, которое давило на город, как крышка гроба. Снег шёл каждый день — мелкий, колючий, он не таял, а накапливался сугробами вдоль стен, на крышах, на колючей проволоке, огораживающей стройку. Температура держалась около минус двадцати, и даже в полдень, когда солнце пыталось пробиться сквозь облака, теплее не становилось.

Эрих Шульц стоял по колено в ледяной жиже — смеси бетона, снега и собственной мочи, которую он не мог контролировать уже вторую неделю. Дизентерия косила заключённых быстрее, чем пули. Тех, кто падал, уносили санитары — куда, никто не знал. Говорили, в лазарет. Но лазарет был просто другой барак, где люди умирали медленнее, потому что не работали.

Он держался. Держался из последних сил, цепляясь за сознание, как утопающий за соломинку. Каждое утро, когда надзиратель открывал дверь барака и кричал «Aufstehen!», Эрих открывал глаза и удивлялся, что ещё жив. Каждый вечер, когда он падал на нары, он не был уверен, что проснётся завтра.

Но он просыпался. И шёл месить бетон.

Стройка, на которой он работал, не имела названия. Для охраны это был «объект №7». Для инженеров, которые иногда приезжали в серых пальто и с портфелями, — «спецобъект Берлин-Хоэншёнхаузен». Для заключённых — просто «место, где мы умрём».

Она располагалась на северо-востоке Берлина, в районе, который до войны был тихим пригородом с добротными домами и садами. Теперь дома стояли пустыми — жильцов выселили, сады вырубili, а на их месте вырастали серые стены из бетонных блоков. Тюрьма. Не просто тюрьма — комплекс. Камеры предварительного заключения, следственный изолятор, внутренняя тюрьма для особо опасных. И главное — подвал, о котором ходили слухи, от которых у Эриха стыла кровь даже в двадцатиградусный мороз.

«В подвале пыточные, — шептал старый поляк, работавший рядом. — Там людей пытаются неделями. А потом вешают в подвале же, чтобы никто не видел».

Эрих не знал, правда ли это. Но верил. Потому что после всего, что он видел на войне, он готов был поверить во что угодно.

— Шульц! — крик надзирателя прозвучал как выстрел.

Эрих поднял голову. Надзиратель — унтер-офицер Фогель, толстый, с багровым лицом и вечно мокрыми от пота подмышками — стоял в десяти метрах и махал рукой. Рядом с ним, за воротами, стоял чёрный «Опель» с затемнёнными стёклами. Из машины никто не выходил.

— Ко мне! — повторил Фогель.

Эрих бросил лопату. Лопата упала в бетон, и кто-то из заключённых тут же подхватил её — на стройке инструмент был дороже человеческой жизни. Эрих побрёл к воротам, волоча ноги по мокрому снегу. Сапоги разваливались — он замотал их тряпками, но тряпки промокли и превратились в ледяные колодки. Каждый шаг был пыткой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.